СЕРИЯ «ШОРТ-ЛИСТ»



Роберт Зеталер

ВСЯ ЖИЗНЬ

Вся жизнь

Роберт Зеталер

Аннотация
Роберт Зеталер. Вся жизнь
***
***
***
***
***
***
***

Аннотация

Андреас Эггер вырос в далекой альпийской деревушке, не зная, что представляет собой мир за окружающей ее горной чередой. Простой физический труд, любовь к прекрасной девушке, спокойная, размеренная жизнь – все это оказалось чрезвычайно хрупким перед лицом природной стихии и Второй мировой войны.

Это нежная и красивая история об отношении человека и природы, об одиночестве, о наступлении современного мира – а главное, о повседневных мелочах, которые и делают нас теми, кто мы есть.

Роберт Зеталер
Вся жизнь

***

Однажды утром, в феврале 1933 года, Андреас Эггер нашел полумертвого Йоханнеса Калишку — жители долины называли козьего пастуха не иначе как Ханнес-Рогач — на промокшем насквозь и пропахшем кислятиной соломенном тюфяке и потащил его вниз, в деревню, три километра по горной тропе, погребенной под толстым слоем снега.

Повинуясь странному предчувствию, Эггер заглянул в хижину, где и обнаружил Ханнеса-Рогача, съежившегося под грудой старых козьих шкур у давно остывшей печи. Пастух, исхудавший до костей и бледный как призрак, так посмотрел на Эггера из темноты, что тому стало ясно: смерть уже близко. Эггер взял Ханнеса на руки, будто ребенка, и бережно усадил на выложенные сухим мхом деревянные носилки, в которых пастух всю жизнь таскал на спине по горам то дрова, то раненых коз. Эггер обмотал себя веревкой, привязал ее к носилкам да затянул покрепче, даже дерево затрещало. Спросил у пастуха, не больно ли ему, тот отрицательно

покачал головой и криво улыбнулся. Эггер знал, что пастух лжет.

Первые недели года выдались необычайно теплыми. В долинах таял снег, в деревне повсюду слышались капель и журчание талой воды. Но за последние дни опять сильно похолодало, и снег, куда ни погляди, валил так густо и мягко, что поглотил всю округу, все живое, заглушил всякий звук. Первые несколько сотен метров Эггер шел молча, и словом не обменявшись с пастухом, дрожавшим у него за спиной. Какие тут разговоры, когда надо следить за тропой, крутым серпантином вьющейся вниз по горе, идти наугад, ведь из-за снегопада она едва заметна в снежном вихре. Он только чувствовал порой, как Ханнес-Рогач шевелится на носилках.

— Не вздумай мне тут помирать, — пробурчал Эггер себе под нос, не ожидая ответа.

Еще почти полчаса он слышал вместо ответа лишь свое тяжелое дыхание, но вдруг сзади раздался голос:

— Умереть — это еще не так плохо.

— Вот только не на моем горбу!

Эггер остановился, чтобы поправить кожаные ремни на плечах, и на миг прислушался к бесшумно падающему снегу. Глухая тишина.

Молчание гор, столь хорошо ему знакомое, всегда способно наполнить сердце страхом.

— Не на моем горбу, — повторил он и двинулся дальше.

За каждым поворотом снегопад, казалось, становился все гуще, мягкий снег падал беспрерывно и беззвучно. Ханнес почти не двигался, а потом и вовсе прекратил шевелиться, и тут Эггеру померещилось худшее.

— Ты там помер, что ли? — спросил он.

— Нет, черт ты хромой! — последовал поразительно четкий ответ.

— Да я так, просто спрашиваю. Ты продержись до деревни, потом делай что хочешь.

— А если не продержусь?

— Надо! — отрезал Эггер.

Решил, что хватит разговоров, и на следующие полчаса между ними воцарилось молчание. Не дойдя до деревни метров трехсот по прямой, на Коршуновой гряде, где первые сосенки горбились, словно карлики, с головой укрытые снегом, Эггер сбился с тропы, споткнулся, плюхнулся на зад и заскользил вниз по склону, пока не врезался метров через двадцать в огромный, человеческого роста, валун. Под скалой не чувствовался ветер, и снег как будто падал здесь еще медленнее, еще

тише. Эггер сидел на снегу, чуть откинувшись на носилки. В левом колене ощущалась колющая, но все-таки терпимая боль, главное — нога осталась цела. Ханнес долго не шевелился, потом вдруг закашлялся и даже заговорил хриплым и таким тихим, что слов почти не разберешь, голосом:

— Где ты хотел бы лежать, Андреас Эггер?

— Что?!

— В какой земле будет твоя могила?

— Не знаю, — ответил тот.

Эггер никогда о таком не думал, он вообще считал, что подобные вопросы не стоят ни времени, ни размышлений.

— Земля есть земля, где лежишь — неважно.

— Может, оно и неважно, под конец уже все неважно, — послышался шепот Ханнеса. — Но вот холод? Такой холод, что разъедает кости. И душу тоже.

— И душу тоже? — переспросил Эггер. Вдруг его охватила дрожь.

— Душу — прежде всего! — ответил пастух. Насколько мог, он высунул голову из-за края носилок и разглядывал стоящий стеной туман и падающий снег.

— Душу, и кости, и разум, и все, что человек в течение жизни любил и во что верил. Вечный

холод пожирает всё. Где-то это написано, как я слышал. Люди говорят, будто из смерти рождается новая жизнь. Но ведь люди глупее, чем самая глупая коза. Послушай меня: из смерти ничего не рождается. Смерть — это Ледяная Дама.

— Ледяная… кто?

— Дама, — повторил Ханнес. — Она является из-за гор, крадется по долинам. Приходит, когда захочет, и берет, что захочет. У нее нет ни лица, ни голоса. Ледяная Дама! Пришла, взяла и ушла прочь. Вот и всё. Схватила тебя мимоходом, уволокла за собой, бросила в какую-то яму. Пока тебя не закопали, ты последний раз в жизни видишь клочок неба, но тут является она, чтобы напоследок обжечь ледяным дыханием. Тебе ничего не остается, только тьма. И холод.

Подняв взгляд в заснеженное небо, Эггер вдруг испугался, что вот-вот увидит перед собой ту самую Даму. И ощутит ледяное дыхание.

— Боже мой, — выдавил он сквозь зубы, — плохо дело.

— Да уж, ничего хорошего, — подтвердил Ханнес срывающимся от страха голосом.

Оба сидели не шелохнувшись. Тишину теперь прерывала лишь тихая песня ветра — касаясь горного хребта, тот увлекал за собою снег, и ка-

залось, будто на вершине развеваются снежные флажки. Вдруг Эггер почувствовал движение и в следующую секунду завалился на спину, прямо на снег. Каким-то образом Ханнес-Рогач смог ослабить узлы и мигом выбраться из носилок. Поднялся на ноги, тощий, в лохмотьях, стоит, слегка пошатываясь на ветру. Эггера вновь проняла дрожь.

— Ну-ка, забирайся обратно, — велел он. — Иначе с тобой опять что-нибудь случится.

Ханнес замер, вытянув шею. На миг показалось, будто он внимает словам Эггера, едва слышным в густом снегопаде. Но он, вдруг тронувшись с места, широким шагом направился прямо вверх. Эггер попытался подняться, поскользнулся и тут же упал, выругался, помог себе руками и все-таки встал на ноги.

— Вернись! — кричал он вслед пастуху, взбирающемуся в гору с поразительной скоростью.

Но Ханнес-Рогач не слышал. Скинув с плеч ремни, Эггер бросил носилки и пустился за ним, но не пробежал и нескольких метров. Остановился, задыхаясь, — склон горы был здесь слишком крут, на каждом шагу Эггер по пояс утопал в снегу. Наверху тощая фигура все уменьшалась и наконец вовсе растворилась в непроницаемой

снежной мгле. Сложив ладони рупором, Эггер крикнул что есть силы:

— Стой! Стой, пес паршивый! От смерти еще никто не убежал!

Все напрасно: Ханнес-Рогач скрылся из виду.

Преодолев последнюю пару сотен метров, отделявшую его от деревни, Андреас Эггер зашел в трактир «Золотая серна», желая согреть свою перепуганную душу, и заказал жаренных на сале пышек да самогонку на травах. Уселся возле старой изразцовой печи, положил руки на стол и почувствовал, как постепенно согреваются заледеневшие пальцы. За открытой печной дверцей потрескивали дрова. Эггеру вдруг показалось, будто из печки на него смотрит пастух: вот же его лицо! Он быстро захлопнул печную дверцу и, зажмурившись, махом выпил рюмку самогонки. Открыв глаза, Эггер увидел перед собой девушку. Уперев руки в бока, она стояла и смотрела на него. Короткие волосы льняного цвета, кожа блестит, разрумянившись от тепла печи. Эггеру невольно вспомнились новорожденные поросята — мальчишкой он, бывало, вытаскивал их из соломы и прижимался лицом к мягким, пахнущим землей, молоком и свиным навозом брюшкам. Взгляд его упал на собственные руки: до чего же они чудны́е,

тяжелые, какие-то никчемные и дурацкие.

— Повторить? — спросила девушка.

Эггер кивнул. Она принесла еще рюмку и, нагнувшись, чтобы поставить ее на стол, нечаянно задела краем блузки его руку. Едва заметное прикосновение причинило Эггеру острую боль, с каждой секундой все сильнее пронзавшую тело. Взглянул на девушку, а она улыбнулась.

Это мгновение и эту мимолетную улыбку у тихо потрескивающей печи Андреас Эггер вспоминал потом всю жизнь.

Позже, выйдя на улицу, Эггер увидел, что снегопад закончился. Похолодало, воздух стал прозрачным. Обрывки тумана ползли вверх по склонам, вершины гор сияли в солнечных лучах. Пройдя деревню, Эггер побрел домой по глубокому снегу. У горного ручья, неподалеку от старых деревянных мостков, резвились дети. Побросав ранцы в снег, они спустились к самому руслу ручья. Одни скатывались вниз по льду, другие ползали на четвереньках, прислушиваясь к тихому бульканью под толщей льда. Завидев Эггера, дети сбились в кучу и закричали:

— Эй, хромой! Хромой!

Голоса их звенели в прозрачном воздухе отчетливо и ясно, как крики молодых беркутов,

которые кружат высоко над долиной, высматривая серн, сорвавшихся в ущелье, и коз на пастбище.

— Эй, хромой! Эй ты, колченогий!

Поставив на землю деревянные носилки, Эггер отколол от нависающего берега кусок льда величиной с кулак, замахнулся хорошенько и швырнул его в сторону мальчишек. Но целился он слишком высоко, и ледяной обломок улетел вдаль выше их голов. Когда льдинка достигла верхней точки полета, на миг показалось, будто она так и останется там — крошечная, сверкающая в закатных лучах звездочка. Но вот она сорвалась вниз и беззвучно пропала в тени утопающих в снегу елей.

***

Три месяца спустя, присев на пенек в том же самом месте, Андреас Эггер наблюдал, как из облака желтоватой пыли, скрывающего вход в долину, появляется, медленно приближаясь к деревне, строительная бригада компании «Биттерман и сыновья»: двести шестьдесят строителей, двенадцать машинистов, четыре инженера, семь поварих из Италии и несколько помощников, чью роль в бригаде на первый взгляд не определишь. Издалека толпа строителей походила на огромное стадо — разглядеть что-либо, например протянутую руку или взваленную на плечо кирку, можно было только сощурившись. Как передовой отряд они шли перед колонной массивных, нагруженных оборудованием, инструментами, стальными балками, цементом и прочими строительными материалами гужевых повозок и грузовых автомобилей, двигавшихся по грунтовой дороге не быстрее пешеходов.

Впервые в долине зазвучало приглушенное тарахтение дизельных двигателей. Местные молча стояли у обочины. Вдруг старый конюх

Йозеф Малицер сорвал с головы фетровую шляпу и, ликуя, подбросил ее в воздух. Тут и другие начали восклицать, радостно кричать и улюлюкать. Несколько недель в деревне ожидали наступления весны и вместе с ним — прибытия строителей. В долине построят канатную дорогу! Подвесную канатную дорогу, работающую на постоянном токе, и люди смогут подниматься на гору в ярко-синих деревянных кабинках, чтобы насладиться панорамным видом на долину. План строительства грандиозный. Тросы длиной две тысячи метров и толщиной двадцать пять миллиметров рассекут небо, переплетаясь, как гадюки в брачный период. При строительстве придется преодолеть перепад высот в тысячу триста метров, построить мосты над ущельем и подорвать скалистые выступы.

Вместе с канатной дорогой в долину придет и электричество. Электрический ток будет струиться по жужжащим кабелям в деревню, наполняя теплым светом улицы, дома и конюшни даже ночью. Вот этот-то свет и многое другое представляли себе люди, подбрасывая шляпы в воздух и выкрикивая приветствия в ясное небо. Эггер охотно присоединился бы ко всеобщему ликованию, но почему-то остался сидеть на своем

пне. Он чувствовал себя подавленным, но сам не знал отчего. Может, дело в тарахтении моторов и в шуме, который внезапно заполонил долину и теперь исчезнет неведомо когда. Исчезнет ли вообще? Посидев еще немного, Эггер не выдержал: вскочил и побежал вниз, присоединился к жителям деревни, стоявшим на обочине дороги, и стал кричать и ликовать изо всех сил.

А в детстве Андреас Эггер не кричал и не ликовал. Он даже не говорил толком, пока не пошел в школу. С трудом он выучил несколько слов и редко-редко, расставляя их в произвольном порядке, пытался произнести фразу. Заговоришь — привлечешь к себе внимание, а это ничего хорошего не сулит. Летом 1902 года его, маленького мальчика, сняли с повозки, которая приехала из далекого города, располагавшегося по ту сторону гор, и он стоял и смотрел широко распахнутыми глазами на сверкающие белизной вершины. Ему было года четыре, или меньше, или больше — точно никто не знал, да и не интересовался. Возраст мальчика уж совсем не волновал и зажиточного крестьянина Хуберта Кранцштокера, когда тот, неохотно приняв ребенка, сунул кучеру убогие чаевые: два гроша да сухую краюшку хлеба. Андреас Эггер — единственный ребенок

одной из его свояченицы, та вела легкомысленный образ жизни, за что Бог наказал ее чахоткой и забрал на тот свет. На шее мальчика висел кожаный мешочек с несколькими банкнотами — хоть что-то! Для Кранцштокера эти деньги послужили достаточным основанием, чтобы тотчас не послать ребенка к дьяволу или не подбросить пастору к церковным воротам — особой разницы он, кстати, не видел.

А маленький Эггер все стоял и смотрел на горы. Этот вид стал единственным его воспоминанием из раннего детства, пронесенным через всю жизнь. Более ранних воспоминаний у него не было, да и последующие годы, проведенные в доме Кранцштокера, растворились в тумане прошлого.

Вот следующее воспоминание Андреаса Эггера: ему около восьми лет, голый и тощий, он висит на перекладине. Зимний холод, ноги и голова почти касаются пола, пропахшего лошадиной мочой, а зад его, костлявый и белый, торчит вверх. Один за другим сыплются удары, которые наносит Кранцштокер прутом лещины. Прут он, как всегда, вымочил в воде, а потому тот очень гибок. Вот он рассек воздух с коротким и звонким свистом и тут же с шелестом — будто вздох! —

хлестнул Эггера по заду. Мальчик не кричит и своим молчанием вынуждает крестьянина наносить все более сильные удары.

Божественной дланью человек создан и закален для того, чтобы подчинить себе Землю и всех тварей земных. Человек исполняет волю Божью и провозглашает слово Божье. Силой чресл своих человек дарует жизнь, а силой рук — отнимает. Человек — это плоть и почва, он крестьянин, и зовут его Хуберт Кранцштокер. Если ему угодно, он вскопает пашню, взвалит на плечи взрослую свинью, произведет на свет ребенка или бросит того на перекладину, потому что он — человек, слово и дело.

— Господи, прости. — Кранцштокер вновь со свистом ударил Эггера прутом. — Господи, прости.

Поводы для телесного наказания находились всегда: разлитое молоко, заплесневевший хлеб, потерявшаяся корова или вечерняя молитва, произнесенная с запинками. Как-то раз Кранцштокер взял слишком толстый прут, или забыл его вымочить, или же бил яростнее, чем обычно, — точно никто не знает, — но после очередного удара в маленьком тельце ребенка что-то затрещало, а потом он перестал шевелиться.

— Господи, прости… — сказал Кранцштокер, удивленно опуская руку.

Маленького Эггера отнесли в дом и уложили на солому, крестьянка вернула его к жизни чаном воды и чашкой теплого молока. Что-то случилось с правой ногой мальчика, но обследование в больнице стоило слишком дорого, поэтому из соседней деревни вызвали костоправа. Алоис Кламерер оказался дружелюбным человеком, о силе и ловкости его непривычно маленьких, нежно-розовых рук ходили легенды даже среди лесорубов и кузнецов. Много лет назад его вызывали к зажиточному крестьянину Хирцу, чей сын вырос настоящим чудовищем, обладавшим медвежьей силой, и однажды тот, напившись вдрызг, провалился сквозь крышу большого птичника и несколько часов пролежал в курином помете, корчась от боли, извергая нечленораздельные звуки и успешно обороняясь вилами, чтобы никого к себе не подпустить. И вот Алоис Кламерер, с беззаботной улыбкой приблизившись к сыну крестьянина, ловко увернулся от вил и вмиг засунул тому два пальца точно в ноздри, тут же с легкостью поставил его на колени, чтобы сперва образумить упрямую головушку, а потом вправить вывихнутые суставы.

Костоправ Алоис Кламерер сумел собрать и сломанную бедренную кость маленького Эггера. Он наложил на ногу шину из тонких деревянных реек, обработал травяной мазью и обмотал толстой повязкой. Следующие полтора месяца Эггер провел на соломенном тюфяке в мансарде, пользуясь старой кухонной миской в качестве утки. Спустя годы, став взрослым и сильным мужчиной, способным на собственной спине спустить с горы умирающего пастуха, Андреас Эггер вспоминал те ночи на пахнущем травами, крысиным пометом и его собственными испражнениями чердаке. Сквозь половицы он чувствовал тепло находящейся под ним комнаты. Слышал тихие вздохи детей Кранцштокера, его грохочущий храп и загадочные звуки, которые издавала его жена по ночам. Из хлева доносились шорохи: животные чем-то шуршали, шумно дышали, жевали сено и фыркали. Ясными ночами Андреас Эггер порой не мог уснуть, видя в слуховом окошке луну. Он пытался выпрямиться, вытянуться как можно выше, чтобы приблизиться к ней, ведь лунный свет так приветлив и ласков, а собственные пальцы ног в таком свете выглядят как маленькие круглые кусочки сыра.

И вот спустя полтора месяца к Эггеру вновь

позвали костоправа, чтобы снять повязку. Нога под ними оказалась тонкой, как куриная косточка. Кроме того, она как-то косо торчала из бедра, казалась то ли кривой, то ли вывернутой.

— Она еще вырастет до нормальных размеров, все ведь растет в этой жизни, — сказал Кламерер, окуная руки в миску с парным молоком.

Преодолевая боль, маленький Эггер поднялся с кровати и поплелся прочь из дома, на лужайку, куда выпускают кур, — там уже зацвели примула и дороникум. Скинув ночную рубаху, он вытянул руки и упал навзничь в траву. Солнце светило прямо в лицо. Эггер впервые подумал о матери, чей образ давно стерся из его памяти. Какой она была? И какой стала, когда пришел конец? Маленькой, исхудавшей и бледной… С одной-единственной крошечной веснушкой на лбу.

Андреас Эггер вновь набрался сил. Правда, нога так и осталась кривой, и с тех пор он шел по жизни прихрамывая. Будто правой ноге при движении всегда требовалось на секунду больше, чем остальному телу, будто она размышляла перед каждым шагом, стоит ли он таких усилий.

О последующих годах детства у Эггера остались лишь потрепанные временем обрывки воспоминаний. Однажды он видел, как гора сдвинулась с

места. Словно кто-то толкнул гору с той стороны, что была в тени, а потом весь склон начал сползать вниз с глухим стоном. Скользящий пласт земли унес вниз лесную часовню и несколько стогов сена, погреб под собой шаткие стены давно заброшенных построек на месторождении лимонита. Хромоногого теленка, отделенного от стада, подбросило высоко в воздух вместе с вишневым деревом, к которому он был привязан, теленок лишь на миг взглянул на долину, а потом его накрыло обломками породы. Эггер вспоминал людей, стоявших у своих домов, и как они смотрели на беду с другой стороны долины, разинув рты. Дети держались за руки, мужчины молчали, женщины рыдали, со всех сторон слышалось бормотание стариков, читавших «Отче наш». Два дня спустя теленка нашли на несколько сот метров ниже по склону, в излучине ручья, — он все еще был привязан к вишневому дереву, вода омывала распухший живот и окоченевшие, торчащие кверху ноги.

Эггер делил большую кровать с детьми крестьянина, но одним из таковых не считался. Он навсегда остался в этом доме приезжим, внебрачным сыном свояченицы, которую покарал Бог, заслужившим милость Кранцштокера только

благодаря содержимому кожаного мешочка, что висел на его шее. К нему и не относились никогда как к ребенку. Словно создан он для того, чтобы работать, молиться да подставлять зад под лещиновый прут. И только пожилая мать крестьянина, бабушка, время от времени одаривала его ласковым взглядом и добрым словом. Иногда она, положив маленькому Эггеру руку на голову, бормотала: «Храни тебя Господь». Узнав во время сенокоса о ее внезапной смерти — она потеряла сознание, выпекая хлеб, упала лицом в тесто и задохнулась, — мальчик выронил косу, молча поднялся на Коршунову гряду и там, в тени, сел и заплакал.

Три дня бабушка пролежала в чуланчике между домом и хлевом. Там царила непроглядная тьма, окна и стены завесили черной тканью. В руки бабушке вложили деревянные четки, лицо освещали две мерцающие свечи. Летняя жара и духота проникали в чулан сквозь щели, запах тлена быстро распространился по всему дому. Когда прибыл катафалк, запряженный двумя огромными лошадьми-хафлингерами, все домочадцы в последний раз собрались у гроба, чтобы проститься с бабушкой. Окропив ее святой водой, Кранцштокер откашлялся и произнес короткую

речь:

— Вот бабушка и ушла. Куда — никто не знает, но все будет хорошо. Там, где умирает старое, появляется место для нового. Так есть, и так будет всегда, аминь!

Гроб поставили на дроги, и похоронная процессия, в которой, как обычно, участвовала вся община, медленно двинулась в путь. Когда она проходила мимо кузницы, покрытая копотью дверь внезапно распахнулась, и наружу вырвался сторожевой пес. Шерсть его была иссиня-черной, а меж лап болтались припухшие ярко-красные гениталии. С хриплым лаем он бросился к повозке. Кучер хлестнул пса кнутом по спине, но тот, казалось, не почувствовал боли. Прыгнув на одну из лошадей, он вцепился ей в заднюю ногу. Встав на дыбы, лошадь лягнула пса, огромное копыто с треском опустилось ему на голову. Взвыв от боли, пес рухнул на землю, словно мешок с костями. Раненая лошадь хромала, шатаясь из стороны в сторону. Вот-вот дроги полетят в отводную канаву! Кучер спрыгнул с козел и схватил лошадей под уздцы — только так ему удалось удержать повозку на дороге, но гроб все равно начал скользить и опасно накренился. Крышка, которую кое-как прикрыли для перевозки, а заколотить

гвоздями должны были уже у могилы, сдвинулась, и бабушкина рука вывалилась в щель. В темноте чулана рука казалась белой как снег, но сейчас, при ярком дневном свете, она выглядела желтой, как лепестки маленьких горных фиалок, цветущих на тенистом берегу ручья, и увядающих, стоит солнечным лучам их коснуться.

В последний раз встав на дыбы, лошадь замерла. Только бока ее дрожали. Эггер увидел руку бабушки, свисающую из-под крышки гроба, на миг ему показалось, будто она хочет махнуть ему на прощание и в последний раз его благословить.

Крышку закрыли, гроб установили на место, похоронная процессия двинулась дальше. А пес так и остался лежать на дороге, трясясь в судорогах, крутясь вокруг своей оси, вслепую разевая пасть во все стороны. Клацанье его челюсти слышалось еще долго, но потом кузнец все же добил пса длинным зубилом.

В 1910 году в деревне построили школу. Отныне Андреас Эггер каждое утро, поработав в хлеву, сидел вместе с другими детьми в классной комнате, пропахшей свежей смолой. Он учился читать, писать и считать. Учился медленно, словно что-то внутри него противилось знаниям, а

потом все же начал видеть в хаосе точек и тире на школьной доске определенный смысл и наконец смог читать книги без картинок, что дало ему кое-какое представление о мире за пределами долины, но также и пробудило кое-какие страхи.

После смерти двоих младших детей Кранцштокера — однажды долгой зимней ночью их жизнь забрала дифтерия — работа на крестьянском дворе стала еще утомительнее, ведь рук теперь поубавилось. С другой стороны, у Эггера появилось больше места на кровати и не приходилось теперь драться за каждую корку хлеба с оставшимися сводными братьями и сестрами. Хотя и без того до физической борьбы дело доходило редко: Эггер стал слишком силен. Природа словно пыталась загладить перед ним вину за тот перелом ноги. К тринадцати годам его мускулатура могла сравниться с мышцами молодого мужчины, а четырнадцати лет он впервые загрузил в хлебный амбар мешок весом в шестьдесят килограммов. Он был силен, но все делал медленно. Медленно думал, медленно говорил, медленно ходил, хотя каждая его мысль была важна, каждое слово и каждый шаг оставляли след, причем именно там, где и должно, — так он считал.

Однажды, вскоре после восемнадцатилетия Ан-

дреаса Эггера (точной даты его рождения никто не знал, бургомистр просто выбрал один из летних дней, а именно 15 августа 1898 года, и выдал ему соответствующее свидетельство), за ужином из рук у него выскользнула глиняная миска с молочным супом, глухо стукнула, ударившись об пол, и разбилась. Весь суп с только что накрошенным в него хлебом разлился по дощатому полу. Кранцштокер, как раз успевший сложить ладони для молитвы, медленно встал из-за стола.

— Замочи лещиновый прут в воде, — приказал он. — Встретимся через полчаса.

Сняв прут со стены, Эггер положил его в поилку для скота, сел на перекладину в хлеву и свесил ноги. А через полчаса появился крестьянин.

— Давай сюда прут! — велел он.

Эггер спрыгнул с перекладины и достал прут из корыта. Кранцштокер размахнулся, прут со свистом рассек воздух. В его руке прут гнулся во все стороны и разбрызгивал блестящие капельки воды.

— Снимай штаны! — скомандовал Кранцштокер.

Но Эггер, скрестив руки на груди, отрицательно помотал головой.

— Только посмотрите, этот мерзавец перечит

честному крестьянину! — возмутился Кранцштокер.

— Пусть меня оставят в покое, вот и все, — ответил Эггер.

Кранцштокер стиснул зубы. На бороде его висели засохшие остатки молочного супа, а на шее пульсировала толстая изогнутая вена. Шагнув вперед, он занес руку для удара.

— Если ты меня ударишь, я тебя убью, — сказал Эггер. Кранцштокер застыл на месте.

Впоследствии, когда Эггер вспоминал эту сцену, ему казалось, будто он простоял так целый вечер: руки скрещены на груди, перед ним — Кранцштокер, сжимающий в кулаке прут из лещины. Оба молчат. У обоих в глазах — ледяная ненависть. А на самом деле так они простояли лишь несколько секунд. Капля воды, медленно стекая по пруту, наконец сорвалась и упала на пол. Из хлева доносились приглушенные звуки, коровы жевали сено. Вот в доме засмеялся кто-то из детей. А потом весь двор снова погрузился в тишину.

— Убирайся сейчас же, — едва слышно произнес Кранцштокер, опуская руку.

И Эггер ушел.

***

Андреаса Эггера считали инвалидом — а он был силен. Он брался за дело без промедления, не требовал много и говорил мало, мог снести жару в поле и жгучий мороз в лесу. Соглашался на любую работу безропотно и выполнял ее на совесть. Умел обращаться с косой и с вилами. Ворочал свежескошенную траву, нагружал повозки навозом, убирал камни и снопы сена с полей. Трудился на пашне как пчела, лазал по скалам в поисках заблудившейся коровы. Знал, какое дерево в каком направлении рубить, как вбить клин, как заострить пилу и наточить топор. В трактир заходил, только чтобы утолить голод, и больше бокала пива или рюмки травяной настойки себе не позволял. Ночью почти не спал в кровати — чаще в сене, на чердаках, в конюшнях и хлевах рядом со скотом. Летними ночами он порой расстилал покрывало на свежескошенном лугу, ложился на спину и смотрел в небо, полное звезд. Он думал о будущем, о том, как оно безгранично простирается перед ним, — именно потому, что от будущего Эггер ничего не ждал.

Иногда, пролежав достаточно долго, он ощущал, будто земля под ним поднимается и опускается легко-легко. Эггер думал в эти мгновения, что так дышат горы.

К двадцати девяти годам Андреас Эггер скопил достаточно денег, чтобы арендовать клочок земли да овин для сена в придачу. Граница участка пролегала как раз у края леса, на высоте около пятисот метров над деревней, а добраться до него можно было только по узкой тропе, ведущей к Пастушьей вершине. Участок не представлял ценности, так как лежал на крутом склоне, земля там не отличалась плодородием, кругом валялись бесчисленные валуны, а размером он не превышал выпас для кур на заднем дворе Кранцштокера. Зато в скалах поблизости бил родник с чистой ледяной водой, а солнце у горного хребта по утрам начинало светить на полчаса раньше, чем в деревне, высушивая росу на траве под ногами Эггера. Срубив на окраине леса два дерева, Эггер обработал их прямо на месте и перетащил распиленные балки к своему овину, чтобы подпереть покосившиеся стены. Для укрепления фундамента он вырыл траншею и заполнил ее валунами, которые нашел на участке. Но камней не стало меньше — казалось, из сухой земли каж-

дую ночь вырастает несколько новых.

Собирая камни, он стал от скуки давать им имена. Имена закончились, и тогда Эггер стал давать камням прозвища. Однажды он понял, что знает слов меньше, чем на земле валяется камней, и начал сызнова. Ни в плуге, ни в скотине он не нуждался, ведь участок для полноценного хозяйства был слишком мал, а годился для крохотного огорода. Наконец, Эггер даже поставил низенький забор вокруг своего нового дома и сделал решетчатую калитку, исключительно ради того чтобы оградиться от случайного прохожего.

В общем и целом времена наступили хорошие: Эггер был всем доволен, он смог бы прожить так всю жизнь. Но потом случилась та история с пастухом. Согласно собственным представлениям о вине и справедливости, Эггер не считал себя причастным к исчезновению пастуха, и все же о произошедшем в тот снежный день он не рассказал никому. Ханнес-Рогач считался умершим, в чем Эггер ни на миг не сомневался, пусть тело его так и не нашли. Но позабыть истощенную фигуру, медленно растворяющуюся в тумане, Андреас Эггер не мог.

Впрочем, с того дня Эггер лелеял в глубине души нечто незабываемое: боль, которая возникла

от прикосновения края блузки к его плечу, потом растеклась по всей руке, по всей груди и наконец засела в самом сердце. Боль невероятно пронзительная, глубже любой другой боли, испытанной Эггером за всю жизнь, глубже даже ударов лещиновым прутом.

Ее звали Мари. Самое прекрасное имя в мире. Она объявилась в долине месяца два назад, искала работу, обувь у нее прохудилась, а волосы покрывала пыль. Обстоятельства сложились удачно: несколько дней назад хозяин трактира выставил вон служанку из-за непредвиденной беременности.

— Покажи-ка руки! — велел он Мари.

Рассмотрев мозоли на ее ладонях, он удовлетворенно кивнул и предложил ей освободившееся место. С тех пор Мари обслуживала гостей и заправляла постели в тех нескольких комнатах, что трактирщик сдавал сезонным рабочим. Она следила за курами, помогала в саду, на кухне, при забое скота и даже содержала в чистоте уборную для гостей. Никогда не жаловалась и не проявляла ни тщеславия, ни изнеженности.

— Держи руки от нее подальше! — пригрозил трактирщик, ткнув в грудь Эггеру блестящим от свиного жира указательным пальцем. — Мари

тут для работы, а не для любви, понял?

— Понял, — ответил Эггер и вновь ощутил ту пронзительную боль в области сердца. «Богу все равно не солжешь, — подумал он, — а вот трактирщику…»

Воскресным днем Эггер поджидал Мари у церкви. Она появилась в белом платье и белой шляпке. Шляпка выглядела очень мило, но Эггеру показалось, что она маловата. Он невольно представил себе выкорчеванный пень посреди леса: черные корни торчат из земли и, словно по волшебству, иногда на них зацветает одинокая белая лилия. А может, шляпка и в самый раз… Эггер в таких вещах ничего не понимал. Его опыт общения с девушками ограничивался воскресными богослужениями, где он, сидя в капелле на последнем ряду, прислушивался к их звонкому пению и одурманивающему запаху вымытых с мылом и натертых лавандой волос.

— Я хочу… — хрипло начал Эггер и прервался на середине фразы, поскольку внезапно позабыл, что именно он хотел сказать.

Несколько мгновений они молчали, стоя в тени капеллы. Мари выглядела уставшей. Словно сумеречная тень церковных сводов наложила отпечаток на ее лицо. К правой брови прилипла и

дрожала на ветру крошечная желтая пылинка — цветочная пыльца. Вдруг Мари ему улыбнулась.

— В тени так резко похолодало, — пожаловалась она. — Может, выйдем на солнце?

Бок о бок шли они по лесной тропке, ведущей от капеллы наверх, к Смоляной вершине. В траве журчал ручеек, наверху шелестели кроны деревьев. В подлеске повсюду щебетали малиновки, но стоило им подойти чуть ближе — и птички умолкли. Эггер и Мари остановились на поляне. Высоко-высоко в небе, прямо над ними, парил ястреб. Захлопав крыльями, он вдруг спланировал в сторону, словно упал с неба, и исчез из виду. Мари срывала цветы. Эггер взял да и швырнул камень размером с голову в подлесок. Просто захотелось, да и сил для таких шалостей у него хватало. На обратном пути, переходя прогнивший мостик, Мари взяла его под руку. Рука у нее оказалось грубой и теплой, как нагретая солнцем древесина. Как бы хотелось ему приложить ее руку к своей щеке и просто стоять так! Но Эггер, сделав широкий шаг, пошел быстрее.

— Осторожнее, смотри вниз! — предупредил он, даже не поворачиваясь к Мари. — Тут запросто можно вывихнуть ногу.

Они стали встречаться каждое воскресенье, а

потом и среди недели. Как-то раз, в детстве, Мари пыталась перелезть через деревянные ворота в свинарник, но свалилась, не удержавшись, и перепугала свиноматку. Та цапнула зубами девочку, и с тех пор на шее у нее красовался ярко-красный шрам в форме полумесяца, длиной сантиметров двадцать. Эггера он не беспокоил. Шрамы — все равно что годы, сначала появляется один, потом другой, третий, и вместе они делают человека самим собой. Хромая нога Эггера, в свою очередь, не беспокоила Мари. По крайней мере, она и слова об этом не сказала. Они вообще почти не разговаривали. Прогуливаясь бок о бок, наблюдали за собственной тенью на земле или же, сидя на каком-нибудь валуне, смотрели на долину.

Как-то раз, в конце августа, Эггер отвел Мари на свой участок. Наклонившись, открыл решетчатую калитку и пропустил Мари вперед. Тут же объяснил: мол, хижину надо еще покрасить, а не то ветер и влажность могут разъесть древесину так быстро, что и глазом моргнуть не успеешь, ни о каком уюте тогда не будет и речи. Вон там он посадил овощи, сельдерей-то уже почти его самого перерос! Ведь солнце тут светит ярче, чем в долине. И это, мол, не только растениям на пользу, но и человеку — согревает тело и душу.

— И конечно, как не упомянуть про прекрасный вид! — описав рукой широкую дугу, произнес Эггер. — Вся долина как на ладони, а при хорошей погоде видно и то, что за ее пределами.

Эггер рассказывал: мол, и внутри стены надо покрасить, вернее, побелить. И замешивать побелку, мол, надо не с водой, а с парным молоком, тогда продержится дольше. Еще, возможно, стоит обставить кухню, хотя самое необходимое — кастрюли, тарелки, ложки, вилки и все такое — уже есть, осталось почистить наждаком сковородки, когда будет время. Хлев ему незачем, для скотины нет ни места, ни времени, да и не мечтал он никогда о крестьянском хозяйстве. Ведь крестьянином быть — всю жизнь ползать, согнувшись, на своем участке да копать землю, не поднимая взгляд. А мужчине, мол, надо смотреть вдаль, охватывая взором свои угодья, даже если те невелики.

Впоследствии Эггер не мог вспомнить, болтал ли он еще хоть раз в жизни без умолку, как тогда, впервые приведя Мари на свою землю. Слова сами выскакивали из него, летели кувырком, а он удивленно прислушивался к тому, как они, нанизываясь друг на друга, складываются во фразу, и с поразительной ясностью постигал смысл этих фраз, но только после того, как произносил их.

Во время спуска по узкому серпантину обратно в долину Эггер опять молчал. Он чувствовал себя странно и стыдился, сам не зная чего. На одном из поворотов Эггер и Мари остановились, чтобы немного передохнуть. Усевшись на траву, они прислонились к стволу поваленного бука. Дерево накопило в себе теплоту последних летних деньков, пахло сухим мхом и смолой. В ясном небе высились горные вершины. Мари сказала, что они словно сделаны из фарфора, а Эггер, никогда в жизни и не видавший фарфоровой посуды, согласился. Он предупредил, что надо, мол, смотреть под ноги, когда спускаешься, а то оступишься — и по земле, как по чашке из фарфора, тоже трещины пойдут, и вся долина рассыплется на сотни маленьких осколков.

Мари рассмеялась:

— Как смешно звучит!

— Да… — Эггер растерянно опустил голову.

Ему захотелось вскочить, схватить валун и запустить куда-нибудь, подальше да повыше! Но тут он вдруг почувствовал, как плечо Мари коснулось его плеча.

— Больше сдерживаться я не смогу! — произнес он, вскинув голову. А потом повернулся к Мари, обхватил ладонями ее лицо и поцеловал.

— Ого! — воскликнула она. — Силища-то какая!

— Прости меня. — Испугавшись, Эггер отдернул руки.

— Но это было чудесно, — ответила Мари.

— Я ведь сделал тебе больно?

— Неважно, — подтвердила она. — Было чудесно.

Эггер вновь прикоснулся к ее лицу, на этот раз очень осторожно — так берут в руки хрупкое яйцо или только что вылупившегося цыпленка.

— Вот так — хорошо.

И Мари закрыла глаза.

Эггер хотел попросить ее руки в тот же день, в крайнем случае — назавтра. Но он не представлял, как это сделать. А потому просиживал ночи напролет на пороге дома, который смастерил сам, глядя в залитую лунным светом траву у своих ног, снова и снова размышляя о собственной несостоятельности. Он не крестьянин и не хочет им становиться. Он не ремесленник, не лесоруб, не пастух… Эггер был честен перед собой: он зарабатывает на хлеб как подсобный рабочий, как батрак, готовый на любую работу, в зависимости от сезона и условий. Такой мужчина сгодится для чего угодно, только не для семейной жизни.

Эггер предполагал, что от будущего женщины ожидают чего-то иного. Сам-то он с удовольствием просидел бы до конца своих дней на обочине горной тропинки, прислонившись к смолистому стволу дерева, рука об руку с Мари.

Но теперь ему нельзя думать только о себе. Теперь его обязанность в этом мире — защищать Мари и заботиться о ней. Мужчине надо смотреть вдаль, охватывая взором свои угодья, даже если те невелики — так он сказал Мари. Этого правила он и хотел придерживаться в жизни.

Эггер отправился в лагерь фирмы «Биттерман и сыновья», который теперь занимал весь склон на другой стороне долины и насчитывал больше жителей, чем сама деревня. Спросив в бараках, где найти ответственного за прием новых работников, он нерешительно, робко переступил порог канцелярии. Боялся испортить грубыми сапогами ковер, покрывающий весь пол и приглушающий шаги, словно ступаешь по мху.

Прокурист — тучный, на голове в обрамлении коротко стриженных волос покрытая шрамами блестящая лысина — сидел за письменным столом из черного дерева в кожаной куртке на овечьем меху, хотя в помещении было тепло. Он низко склонился над стопкой папок и, казалось,

даже не замечал Эггера. Но в ту секунду, когда Эггер уже собрался кашлянуть и обратить на себя внимание, прокурист вдруг поднял голову.

— Ты хромаешь, — сказал он. — Нам тут такие не нужны.

— Во всей округе нет работника лучше меня, — ответил Эггер. — Я силен. Я все умею. И берусь за любую работу.

— Но ты хромаешь.

— В долине… да, возможно, — согласился Эггер. — Но в горах равного мне нет!

Прокурист медленно откинулся на спинку стула. В комнате повисло молчание, темной вуалью оно покрыло сердце Андреаса Эггера. Уставившись на выкрашенную в белый стену, он и сам уже не знал, зачем, собственно, сюда явился. Вздохнув, прокурист махнул рукой, словно желал прогнать Эггера.

— Добро пожаловать в «Биттерман и сыновья». Алкоголь, распутство и профсоюзы запрещены. Начинаешь работать завтра в полшестого утра!

Эггер помогал рубить лес и устанавливать гигантские металлические столбы на расстоянии пятидесяти метров друг от друга. Они образовывали совершенно прямую линию, уходящую вверх по горе все дальше и дальше, а размером

превышали на несколько метров даже капеллу — самое высокое сооружение в деревне. Эггер таскал железо, древесину и цемент то вверх, то вниз по склону. Он выкапывал в лесной земле котлованы для фундамента, сверлил в скалах отверстия толщиной с руку, куда подрывник закладывал динамит. Взрывы он пережидал вместе с другими рабочими, сидя в безопасном месте на стволах поваленных деревьев, которые лежали по обе стороны от вырубленной просеки. Уши рабочие закрывали руками, но чувствовали, как гора под ними сотрясается от взрывов.

Лучше Андреаса Эггера эту местность никто не знал, к тому же он совершенно не боялся высоты, поэтому чаще всего к месту закладки динамита первым посылали именно его. Он взбирался по осыпающимся обломкам камней меж скал, висел у отвесного склона на тонком тросе и сверлил отверстие, сосредоточенно глядя на образующееся вокруг сверла облачко пыли. Эггеру нравилось работать среди скал. Здесь, наверху, воздух так прохладен и чист, нередко можно услышать крик беркута, увидеть его тень, беззвучно скользящую по склону. Эггер часто думал о Мари. Вспоминал ее теплые, загрубевшие руки и шрам на шее, изогнутые очертания которого то и дело возникали

у него в памяти.

Осенью Андреаса Эггера охватило беспокойство. Пришло время просить руки Мари, но он все еще не имел представления, как это осуществить. Целые вечера он просиживал на пороге дома, предаваясь расплывчатым фантазиям и мечтам. Эггер не хотел просто сделать ей предложение, сказать, мол, будь моей женой, и все. Нет, слова эти должны отражать силу его любви к Мари, запечатлеться навсегда в ее памяти и сердце. Хорошо бы написать ей письмо, но писал Эггер даже реже, чем говорил, то есть — практически никогда. К тому же он считал, что в письме многого не скажешь. Как уместить всю полноту чувств и мыслей на одном листке бумаги? Разве что написать о своей любви огромными буквами на горе, чтоб увидел каждый житель долины!

Андреас Эггер поделился своими переживаниями с другим рабочим, Томасом Матлем. Они вместе выкорчевывали из земли неподдающиеся пни на краю лесной просеки. Матль был опытным лесорубом, одним из старейших работников фирмы. Вот уже более тридцати лет он ездил в разные горные регионы то с одной строительной бригадой, то с другой, чтобы во имя прогресса вырубать деревья и сажать на их место металли-

ческие каркасы и бетонные столбы. Он быстро и проворно двигался в подлеске, несмотря на возраст и боли, которые, как он говорил, словно свора разъяренных собак, вгрызались в его поясницу.

— Может, оно и получится — написать слова на горе, — начал Матль, поглаживая бороду. — Написать дьявольскими чернилами — огнем!

И он рассказал, что в годы своей молодости провел несколько летних сезонов в северных регионах — рубил лес для строительства мостов. Там ему доводилось присутствовать на празднике Святейшего Сердца Иисуса, когда июньским днем жители поджигали деревянные заготовки, а те, образуя настоящие картины, освещали горы в ночи. Матль натолкнул Эггера на мысль, что коль уж можно рисовать огнем, то и писать им тоже можно. Например, таким образом сделать Мари предложение руки и сердца. Три-четыре слова, больше написать едва ли удастся. «Будешь моей женой?» или «Стань моей, любимая!» Такое, что понравилось бы любой женщине.

— Да, примерно так… — задумчиво добавил Матль.

А потом снял усыпанную почками веточку, которая зацепилась за его воротник, и стал одну

за другой откусывать маленькие белые почки, посасывая их, как карамельки.

— Да, — кивнул Эггер, — так, может, и получится.

Две недели спустя, в первое воскресенье октября, под вечер, семнадцать самых надежных рабочих из бригады Эггера взобрались по каменистой осыпи на вершину Коршуновой гряды, чтобы, следуя хриплым указаниям Матля, заложить набитые опилками и пропитанные керосином льняные мешочки общим весом в двести пятьдесят с половиной килограммов в скалу, на расстоянии около двух метров друг от друга, по линии, заранее намеченной пеньковым канатом. Несколько дней назад, закончив работу, Эггер собрал их в палатке, где обустроили столовую, чтобы поделиться своими планами и попросить помощи.

— Получите по семьдесят грошей да четвертинку травяной самогонки, — пообещал Эггер, разглядывая перепачканные лица рабочих.

Вот уже почти месяц он откладывал деньги с получки, собирал монеты в ящик из-под свечек, пряча его в яму у порога дома.

— Хотим восемьдесят грошей и пол-литра! — выпалил черноволосый слесарь-сборщик, все-

го-то недели две назад приехавший работать на фирму из Ломбардии, но уже заслуживший, благодаря взрывному темпераменту, определенный авторитет в бригаде.

— Девяносто грошей, но без самогона, — ответил Эггер.

— Нет, без самогона никак!

— Тогда шестьдесят грошей и пол-литра.

— По рукам! — выкрикнул черноволосый и треснул кулаком по столу, подтверждая, что сделка состоялась.

Большую часть времени Томас Матль сидел на выступе скалы, руководя действиями рабочих. Мешочки никак не могут располагаться дальше двух метров друг от друга, иначе в буквах будут пробелы.

— Кто же пишет признание в любви дырявыми буквами, дурень ты пустоголовый! — кричал он, швырнув в сторону молодого монтажника, допустившего слишком большие промежутки, камень величиной с кулак.

Рабочие выложили все мешочки точно к закату. Ночь опустилась на горы, Матль перелез со своего выступа к первой букве надписи. Осмотрел склон, по которому равномерно распределилась вся бригада. Затем отряхнул брюки от пыли,

выудил из кармана коробок спичек и поджег палку, которая торчала рядом с ним из земли и была обмотана пропитанной керосином тканью. Взяв в руки факел, он стал размахивать им над головой и заорал что есть мочи. Почти в тот же миг на каменистой осыпи вспыхнули еще шестнадцать факелов, рабочие забегали вдоль линий, мигом зажигая один мешочек за другим. Матль тихо усмехнулся. От мысли о самогонке ему стало тепло, но спиной он уже чувствовал прохладное дыхание ночи, все ниже опускающейся на горы.

В ту же минуту внизу, в долине, Андреас Эггер приобнял Мари за плечи. Они договорились встретиться у пня рядом со старым мостиком на закате солнца, Эггер почувствовал облегчение, когда Мари появилась там вовремя. Она была в светлом льняном платье, волосы ее пахли мылом, сеном и самую малость жареной свининой. Постелив пиджак на пень, Эггер предложил ей присесть. Он, дескать, хочет показать ей нечто незабываемое.

— Будет красиво? — спросила Мари.

— Может быть, — ответил Эггер.

Молча они сидели рядом и наблюдали, как солнце исчезает за горами. Эггер слышал, как колотится его сердце. На миг ему даже показалось,

будто сердце бьется не у него в груди, а в этом пне, будто гнилой кусок дерева возрождается для новой жизни. Тут издалека донесся крик Томаса Матля, и Эггер произнес, указывая в темноту:

— Смотри!

На той стороне долины, высоко в горах, загорелись шестнадцать огоньков, замельтешили, запрыгали во все стороны, словно рой светлячков. Казалось, перемещаясь, они оставляли за собой капельки света, а те потом соединялись друг с другом плавными линиями. Эггер чувствовал тепло, исходящее от Мари. Обнимая ее за плечи, он слышал тихое дыхание. Горящие линии на горе изгибались, вились, некоторые замыкались, образуя окружности. Последними загорелись прямая линия и точка справа, и Эггер знал, что это старый Матль взобрался по каменистой осыпи и лично поджег несколько последних мешочков.

Слова «Для тебя, Мари!» горели на склоне, огромные, хорошо видные каждому в долине. Буква «М» казалось немного косой, кроме того, в середине зияла дыра, словно кто-то пытался разорвать ее пополам. Как минимум два мешочка не загорелись — а может, их даже не заложили в нужные места. Сделав глубокий вздох, Эггер повернулся к Мари и попытался разглядеть ее

лицо во тьме. А затем спросил:

— Ты станешь моей женой?

— Да, — прошептала она едва слышно.

Эггер не знал, верно ли он расслышал ответ, а потому переспросил:

— Станешь моей женой, Мари?

— Да, стану, — повторила она твердым голосом, и Эггер почувствовал, что вот-вот свалится с пня, на котором сидел.

Но не свалился. Они прижались друг к другу, а когда разомкнули объятия, огни на горе уже погасли.

Андреас Эггер больше не проводил ночи в одиночестве. Теперь рядом с ним на кровати, тихонько вздыхая, спала жена, а он мог рассматривать изгибы ее тела под одеялом, фигуру, которую за последние недели хорошо изучил, но все еще воспринимал как непостижимое чудо. Эггеру уже тридцать три, и свои обязанности он знает. Он будет защищать Мари и обеспечивать ее, так он решил, так и поступит. И поэтому однажды утром, в понедельник, он вновь явился к прокуристу фирмы, где работал.

— Я хочу больше работать, — заявил Эггер, вертя шерстяную шапку в руках.

Оторвав взгляд от письменного стола, проку-

рист раздраженно посмотрел на Эггера:

— Нет таких людей, которые хотят больше работать!

— А я хочу, потому что скоро обзаведусь семьей.

— Значит, ты хочешь получать больше денег, а не больше работать.

— Поскольку вы так считаете, в ваших словах есть доля правды.

— Да, я считаю именно так. Сколько ты получаешь сейчас?

— Шестьдесят грошей в час.

Откинувшись в кресле, прокурист посмотрел в окно, где за слоем пыли виднелись белые вершины Петушиного хребта. Медленно погладил рукой лысину. Затем, шумно выдохнув, взглянул Эггеру в глаза.

— Будешь получать восемьдесят в час, но я хочу, чтобы за каждый грош ты надрывался изо всех сил. Согласен?

Эггер кивнул. А потом прокурист произнес слова, которые Эггер запомнил на всю жизнь, пусть и не понял их в тот момент:

— Можно выторговать у человека час или два или же красть у него целые дни, можно даже лишить его всей жизни. Но никто не в состоянии

отнять у человека единственное мгновение. Вот что я тебе скажу, а теперь оставь меня в покое.

***

Тем временем строительная бригада фирмы «Биттерман и сыновья» продвинулась выше по склону, оставив позади границу леса, а вместе с ней и шрам на теле горы длиной полтора километра и шириной до тридцати метров. До запланированного места расположения верхней станции подъемника у вершины Карлейтнер оставалось около четырех сотен метров, но склон тут был крут и неприступен, а последний отрезок пути должен был проходить над отвесной стеной, увенчанной скалистым выступом, который местные из-за его необычной формы прозвали Череп Великана. Вот уже много дней Эггер висел точно под подбородком Черепа Великана и сверлил в гранитной стене дыры, а потом вкручивал туда крепежные винты толщиной с руку, которым следовало держать металлическую лестницу для технического обслуживания подъемника. В глубине души он испытывал гордость, думая о рабочих, чья жизнь во время подъема по лестнице будет зависеть только от него и его мастерства. Во время коротких передышек он, примостившись

на выступе, смотрел на долину. Несколько недель назад старую дорогу засыпали песком и просмолили, а теперь за паром и взвесью угадывались очертания рабочих, беззвучно — так казалось издалека — укладывающих горячий асфальт кирками и лопатами.

Зимой имя Эггера — одно из немногих — все еще значилось в расчетном листке фирмы. Вместе с группой других рабочих, в том числе и Томасом Матлем, благодаря огромному опыту работы в лесу оказавшимся чрезвычайно полезным для фирмы, они продолжали расширять просеку и очищать ее от камней, древесины и корневищ. Нередко им приходилось, стоя по пояс в снегу, вырубать какой-нибудь корень из промерзшей земли, а в лицо им дул ветер со снегом, и ощущался он словно выстрел дробью, и даже кожа начинала кровоточить, покрывалась мелкими ранками. За работой они переговаривались только по крайней необходимости, а во время обеденного перерыва молча сидели под укутанной снегом елью и жарили куски хлеба на костре. Они пробирались друг за другом в подлеске, в непогоду скрывались от ветра в тени скалы, согревали дыханием истерзанные морозом руки. «Живем как дикие звери, — думал Эггер, — пол-

заем по земле, нужду справляем за ближайшим деревом, по уши в грязи, от скал не отличишь». И постоянно вспоминал о Мари, которая ждет его дома. Он больше не один — к этой мысли привыкнуть непросто, и все же она согревает лучше огня, лучше тлеющих углей, в которые Эггер засовывал окаменевшие на морозе сапоги.

Весной, когда началась оттепель и повсюду в лесу стало раздаваться таинственное бульканье и капанье, в бригаде Андреаса Эггера случилась беда. При обработке кедра, надломившегося под весом снега, от древесного ствола с резким треском отлетел осколок величиной в человеческий рост и отсек молодому лесорубу Густлю Гроллеру правую руку с топором, который тот, к несчастью, как раз занес над головой для очередного удара. Рухнув на землю, Гроллер уставился на свою кисть, отлетевшую метра на два: пальцы все еще сжимали древко топора. Рабочие как воды в рот набрали, да и лес будто задержал дыхание и замер. Первым спохватился Томас Матль.

— Боже, — вымолвил он, — вот скверные дела.

Достав из ящика с инструментами моток проволоки, какой очищают от коры деревья, он что есть силы затянул ее вокруг культи Гроллера, из которой хлестала темная кровь. Гроллер взревел,

дернулся всем телом и потерял сознание.

— Сейчас-сейчас, — бормотал Матль, закрывая рану носовым платком. — Так быстро кровью люди не истекают!

Один из рабочих предложил нарубить ветвей, чтобы смастерить носилки. Другой попытался приложить к ране травы, но его быстро оттеснили. Наконец решили, что раненого лучше отнести на руках в деревню, уложить в кузов дизельного грузовика и отправить в больницу. Слесарь-сборщик из Ломбардии, подняв Гроллера с земли, взвалил его на спину, как мешок. Завязался короткий спор: а что делать с рукой? Одни предлагали, закутав ее, взять с собой — может, врачи смогут пришить обратно. Другие возражали: мол, даже самым искусным лекарям сроду не удавалось пришить целую руку, да и если вдруг удастся — она будет Гроллеру только мешать, болтаясь вяло и уродливо, как тряпка. Разрешил спор сам Гроллер, придя в сознание на спине слесаря:

— Похороните мою руку в лесу! Может, из нее вырастет куст зверобоя.

Большая часть бригады понесла в деревню бывшего лесоруба Густля Гроллера, а Эггер и Томас Матль остались на месте происшествия, чтобы

закопать руку. Листва и земля в том месте, где лежала рука, пропитались кровью, пальцы на ощупь казались ледяными и восковыми, когда Эггер и Матль отделяли их от топорища. На кончике указательного пальца сидел черный как смоль жук-дровосек. Держа окоченевшую руку перед собой, Матль, сощурившись, рассматривал ее со всех сторон.

— Так чудно́, — начал он. — Только что она была частью Гроллера, а теперь мертва и ничем не отличается от гнилой ветки. А сам Гроллер остался тем же Гроллером, как думаешь?

Эггер пожал плечами:

— А почему нет? Тот же Гроллер, но без одной руки.

— А если бы ему отсекло обе?

— Все равно. Он остался бы Гроллером.

— А если, предположим, ему отсекло бы обе руки, обе ноги, и даже полголовы?!

Эггер задумался.

— Вероятно, он и тогда бы остался Гроллером… в общем-то… — Он вдруг услышал сомнение в своем голосе.

Вздохнув, Томас Матль осторожно положил отрубленную руку на ящик с инструментами, а потом они вместе, ловко орудуя лопатами, в

два счета вырыли яму в земле. Лес тем временем вновь задышал, над их головами в кронах деревьев запели птицы. День выдался прохладным, но вот сквозь завесу облаков и густую листву сияющими пучками пробилось солнце, и земля тут же стала мягкой и вязкой. Эггер и Матль опустили руку в могилку и закопали. Последними скрылись под слоем земли пальцы. Секунду они торчали из земли, словно толстые мучные черви, но потом и их засыпали. Вытащив мешочек с табаком, Матль набил самодельную трубку из сливового дерева.

— Смерть — такое свинство! — вырвалось у Матля. — Человек словно уменьшается со временем. Кто-то раз — и помер, а другие живут долго-долго… Вот родился и сразу начинаешь терять одно за другим: сначала палец, потом руку, сначала зуб, а потом и всю челюсть, сперва одно воспоминание, затем память и так далее, пока не исчезнешь совсем. А потом твои останки швырнули в яму, зарыли — и дело с концом.

— И наступает холод, — добавил Эггер. — Холод, который разъедает душу.

Старик взглянул на него. Поморщившись, он сплюнул, не вынимая трубки изо рта, и попал на тот самый коварный отщепок кедра, по краям

которого застыла кровь Гроллера.

— Ерунда. Ничего уже не наступит, ничего не будет вообще! Ни тебе холода, ни тебе души. Смерть есть смерть, вот и все. После нее ничего нет, и даже Господа Бога. Если бы он был — разве находилось бы царство небесное так чертовски далеко?!

Сам Томас Матль покинул этот мир почти в тот же день, девять лет спустя. Всю жизнь он желал умереть за работой, но вышло иначе. Принимая ванну — единственную на весь лагерь, сплошь покрытую вмятинами, чудище из оцинкованного железа, которым повар за небольшую плату давал пользоваться рабочим, — Томас Матль уснул. Он проснулся, когда вода стала ледяной, и заработал простуду, а потом так и не вылечился. Несколько ночей он пролежал, обливаясь потом, на своей койке, и все это время нес несвязную чепуху, то о давно умершей матери, то о леших-кровопийцах. Но вот однажды утром он, встав с постели, объявил, что здоров и идет на работу. Мигом натянув штаны, Матль вышел на улицу, подставил лицо солнцу и испустил дух.

Похоронили его на зеленом склоне у деревенского кладбища, который фирма выкупила у общины. Проститься с умершим пришли почти

все сотрудники, они внимательно выслушали короткую речь одного из бригадиров, посвященную тяжелой работе в горах и чистой душе Томаса Матля.

До того как фирма «Биттерман и сыновья» объявила себя банкротом в 1946 году, официально числились умершими тридцать семь рабочих, включая и Томаса Матля. Однако в действительности куда больше людей отдали свои жизни при строительстве канатной дороги, расширявшейся все быстрее с начала 1930-х.

«За каждой кабиной стоит покойник», — вымолвил Матль в одну из последних ночей. Но слова его остальные рабочие уже не воспринимали всерьез — решили, что из-за лихорадки он утратил последние остатки разума.

Так закончился первый год работы Андреаса Эггера для фирмы «Биттерман и сыновья». В честь введения в эксплуатацию Первой Венденкогленской подвесной канатной дороги — это официальное название использовали только бургомистр и туристы, а местные называли ее попросту Синяя Лизль, так как кабинки были ярко-синие, а спереди несколько плоские, чем напоминали супругу бургомистра, — на верхней площадке состоялась грандиозная церемония

открытия: толпа уважаемых гостей, замерзая в тонких костюмах и легких платьях, стояла и слушала, как священник благословляет канатную дорогу, пытаясь перекричать ветер, который к тому же трепал его сутану, делая ее похожей на всклокоченное оперение галчонка. Эггер стоял среди других рабочих на горе чуть ниже Черепа Великана. Как только люди на платформе начинали аплодировать, он тоже поднимал руки высоко над головой и воодушевленно вскрикивал. Сердце его наполнялось особенной гордостью и величием. Он понимал, что причастен к грандиозному свершению, превосходящему его собственные силы и даже силу его воображения, способному приблизить светлое будущее не только для жителей долины, но и для всего человечества. С тех пор как по Синей Лизль во время пробного запуска несколько дней назад осторожными рывками, без каких-либо происшествий поднялась первая кабина, горы, казалось, лишились частички своего многовекового могущества. А ведь скоро построят и другие канатные дороги! Руководство фирмы продлило договоры почти со всеми рабочими и представило планы строительства еще пятнадцати подвесных дорог, среди которых даже нашлась немыслимая

конструкция, предполагающая доставку пассажиров на гору вместе с рюкзаками и лыжами не в кабинках, а в свободно парящих над землей деревянных креслах. Эггер счел эту идею смехотворной, хотя втайне восхищался инженерами: какие только фантастические замыслы не возникают в их головах! А их уверенность и блеск всегда безупречно начищенных ботинок не в состоянии затмить ни пурга, ни летняя жара.

Почти четыре десятилетия спустя, а именно летом 1972 года, прожив еще полжизни, Андреас Эггер стоял на том же месте и наблюдал, как высоко над головой серебристые блестящие кабины бывшей Синей Лизль стремительно, с едва слышным жужжанием плывут наверх. А там, на платформе, двери кабины открывались с протяжным шипением, выпуская наружу толпу туристов, которые потом разбредались во все стороны и заполоняли склоны, как пестрые насекомые. Эггера возмущали люди, бездумно взбирающиеся по каменистой осыпи в вечных поисках каких-то сокрытых чудес. Хотелось встать поперек дороги да высказать, что он о них думает, но в действительности Эггер и сам не знал, в чем собирается их упрекнуть. Но все же он смог признаться самому себе, что втайне

завидует людям, выбравшимся на загородную прогулку. Они прыгали по камням в кроссовках и шортах, сажали детей на плечи, улыбались в объектив фотоаппарата. А он был никуда не годным стариком, он только и мог радоваться, что еще в состоянии ходить более или менее прямо. Давно Эггер на этом свете, он видел, как тот меняется, как жизнь с каждым годом идет все быстрее, и считал себя пережитком прошлого, частью давно утраченного времени, колючим кустом, который, собрав последние силы, тянется навстречу солнцу.

Вслед за торжественным открытием верхней станции канатной дороги настали самые счастливые месяцы в жизни Андреаса Эггера. Он ощущал себя маленьким, но оттого не менее значимым колесиком гигантской машины под названием «прогресс». Иногда, засыпая, он представлял, как сидит в животе у этой машины, неудержимо прокладывающей себе путь через леса и горы, как с него сходит семь потов, но тем самым он помогает ей продвигаться вперед. Выражение *семь потов* Эггер взял из потрепанной книжки для чтения — Мари нашла ее под скамьей в трактире и вечерами зачитывала ему отрывок-другой. В той книжке, помимо всяческих рассуждений о

городской моде, садовых работах, содержании мелких домашних животных, а также расхожих нравоучений, нашлась и повесть. Главный герой, обедневший русский дворянин, на протяжении целой зимы вез в карете через пол-России свою возлюбленную, одаренную необычными способностями девушку-крестьянку, чтобы спасти ее от преследования слепо верящих в Бога деревенских старейшин, и ее отца в том числе. Повесть закачивалась трагически, зато содержала в себе множество так называемых романтических сцен, Мари зачитывала их с легкой дрожью в голосе, а Эггер испытывал диковинную смесь отвращения и восхищения. Прислушиваясь к словам Мари, он чувствовал, что под одеялом медленно разливается жар, способный, как ему казалось, вскоре заполнить всю хижину. Каждый раз, когда обедневший дворянин и крестьянская дочь мчались в своей карете по заснеженной степи, слыша за собой топот лошадиных копыт и гневные крики преследователей, и когда она, охваченная ужасом, бросалась в объятия своего спутника и задевала подолом испачканного в дороге платья его щеку, Эггер доходил до предела. Отбрасывая одеяло прочь, горящими глазами он смотрел в мерцающую темноту под потолком.

Тогда Мари бережно убирала книжку под кровать и задувала свечу.

— Иди ко мне, — шептала она в темноте, и Эггер повиновался.

В конце марта 1935 года, после захода солнца, Эггер и Мари сидели на пороге своего дома и смотрели на долину. Последние недели выдались снежными, но неожиданно наступившее тепло вот уже два дня возвещало о начале весны, повсюду таял снег, а птенцы ласточек днем высовывали клювики из гнезда под крышей. С утра до вечера ласточки таскали в клювах своим птенцам то червяков, то жучков, Эггер даже сказал как-то: мол, их помета хватит на фундамент для еще одного дома. Мари любила птиц, считала их крылатыми оберегами, которые отводят от дома всякое зло, так что они договорились оставить гнездо и помет как есть.

Эггер разглядывал деревню и противоположную сторону долины. Во многих домах уже зажегся свет. Недавно в долину провели электричество, так что порой можно было разглядеть то в одном, то в другом окошке, как старик крестьянин, сидя у себя комнате, удивленно уставился на яркую лампу. Загорелись огни и в лагере, из тонких железных труб в затянутое облаками

вечернее небо вертикально вверх поднимался дым. Издалека казалось, будто облака привязаны к крышам домов тонкими нитями и висят над долиной, подобно громадным, бесформенным воздушным шарам. Кабины Синей Лизль замерли на месте. Эггер представил, как именно в этот миг два специалиста-техника ползают с масленками в руках в машинном отделении, смазывая шестеренки механизма. Только-только закончилось строительство еще одной канатной дороги, а для третьей в соседней долине уже начали вырубать в лесу просеку, шире и длиннее, чем первая и вторая вместе взятые. Эггер смотрел на собственный клочок земли, лежащий перед ним на крутом склоне, весь покрытый снегом. Он чувствовал, как внутри него маленькими теплыми волнами поднимается тепло: он доволен жизнью и больше всего хотел бы прямо сейчас вскочить и прокричать о своем счастье на весь мир, но Мари сидела рядом так спокойно и тихо, что он тоже не сдвинулся с места.

— Думаю, нам бы надо побольше овощей, — сказал он. — Я могу расширить огород. Тот, что за домом. Сажали бы картошку, лук, еще что-нибудь.

— Да, было бы неплохо, Андреас, — ответила

Мари.

Эггер взглянул на нее. Обращалась ли она к нему прежде по имени? Нет, такое впервые, и как необычно! Тыльной стороной ладони Мари потерла лоб. Эггер отвернулся.

— Посмотрим, могут ли вообще овощи расти на этой почве, — добавил он, ковыряя носом ботинка мерзлую землю.

— Что-нибудь да вырастет! Что-нибудь совершенно замечательное, — утешила его Мари.

Она сидела, слегка откинувшись назад, и в тени дверного проема Эггер не мог разглядеть ее лицо. Только глаза — две блестящие капельки — сияли в темноте.

— Почему ты так смотришь? — тихо спросил он.

Вдруг Эггер почувствовал себе неловко: вот он сидит рядом с этой женщиной, такой близкой и такой чужой одновременно. Слегка подавшись вперед, Мари положила руки на колени. Они казались необычайно нежными и белыми. Как поверить, что несколько часов назад она этими самыми руками колола дрова? Эггер коснулся плеча Мари, не отводя взгляда от ее белоснежных рук, но зная, что в этот миг она улыбается.

Посреди ночи Эггера разбудил диковинный

звук. Что-то вроде предчувствия, тихого шепота, блуждающего по уголкам дома. Эггер прислушивался в темноте. Ощущал тепло лежащей рядом жены, слышал ее дыхание во сне. Наконец он решил подняться и выйти на улицу. Поток теплого сухого ветра устремился ему навстречу, чуть ли не вырывая из рук дверь. На ночном небе бушевали темные облака, то и дело поблескивала бледная, бесформенная луна. Эггер медленно побрел вверх по лугу. Снег отяжелел и подтаял, повсюду булькала вода. Эггер размышлял о том, какие овощи посадить, что вообще предстоит еще сделать на участке. Урожая эта земля даст немного, но им хватит. Они могли бы завести козу или даже корову, чтоб всегда было молоко. Вдруг Эггер замер. Откуда-то сверху послышался шум, будто внутри горы что-то вздыхало и трескалось. А потом раздался глубокий, нарастающий гул, и земля под ногами задрожала. Эггеру резко стало холодно. За несколько секунд неясный гул перерос в пронзительный и чистый звук. Стоя неподвижно, Эггер слушал, как гора начинает петь. Он увидел, как метрах в двадцати сбоку беззвучно промелькнуло что-то большое и темное, и, не успев осознать, что это ствол дерева, ринулся прочь. Побежал по глубокому снегу на-

зад к дому, стал звать Мари, но его подхватило и подкинуло в воздух. Протащило мимо дома, и Эггер успел увидеть только собственные ноги, торчащие вверх, словно они теперь отдельно от тела, а потом его накрыла темная волна.

Эггер пришел в себя, когда облака на небе рассеялись и в ночном небе засияла белоснежная луна. Вокруг высились облитые лунным светом горы, чьи обледеневшие гребни казались сделанными из металла, острыми и четкими, словно готовыми вот-вот рассечь небо на части. Эггер лежал на спине как-то наперекосяк. Двигать головой и руками получалось, но по пояс он утопал в снегу. Он начал копать. Обеими руками раскидывая снег, Эггер выкапывал свои ноги, а когда наконец освободил их от снега, изумился: они лежали перед ним как два бревна, холодные, будто и не его ноги вовсе. Эггер принялся колотить себя кулаками по бедрам.

— Ну же, не бросайте меня! — выкрикнул он, но тут же хрипло рассмеялся, когда в ноги наконец хлынула кровь, а вместе с нею и боль.

Он попытался было встать, но мигом рухнул снова на снег. Эггер ругал свои никчемные ноги, все тело, так как чувствовал себя слабее маленького ребенка.

— Хватит, поднимайся! — скомандовал он самому себе.

Попробовав еще раз, Эггер все же смог встать на ноги. Местность вокруг изменилась. Лавина похоронила под собой деревья и скалы, сровняла их с землей. В лунном свете снежные массы раскинулись огромным одеялом. Он попытался сориентироваться по горам. Рассудил, что вроде как находится метрах в трехстах ниже по склону от своей хижины, а она вон, наверху, за тем снежным холмом. Эггер побрел вперед. Идти получалось только медленно, после лавины снег стал непредсказуем: то он затвердевший, каменный, слипшийся с грунтом, то мягкий, похожий на порошок или сахарную пудру. Его мучили боли, сильнее всего беспокоила здоровая, неискривленная нога. Словно железный шип воткнулся в бедро и с каждым шагом уходил все глубже в плоть. Он вспомнил о ласточкиных птенцах. Есть надежда, что лавина их не задела. Гнездо располагалось в довольно защищенном месте, стропила для крыши он сделал на совесть. Но надо еще укрепить нижние поперечные балки, утяжелить крышу камнями, задний фасад дома защитить опорной стеной, такой, чтобы поглубже уходила в склон горы, из обломков

горной породы.

— Камни только надо подобрать поровнее! — сказал Эггер вслух самому себе.

На миг остановившись, он прислушался. Ни звука. Неистовый ветер утих, легкий ветерок лишь слегка щекотал кожу. Эггер пошел дальше. Вокруг простирался тихий и мертвый мир. На мгновение он почувствовал себя последним человеком, оставшимся на Земле, по крайней мере, в долине.

— Что за глупость! — невольно рассмеялся он, не сбавляя шаг.

Последний отрезок пути до снежного холма был слишком крутым, пришлось карабкаться на четвереньках. Снег крошился в руках и на ощупь казался непривычно теплым. Как ни странно, боли в ногах исчезли, но где-то внутри, под кожей, еще чувствовался холод и легкость, словно они сделаны из стекла.

— Вот-вот приду, — сказал он самому себе, или Мари, или хоть кому-нибудь, и в тот же миг осознал, что никто его не услышит, а потому, перевалив через верхушку снежного холма, громко зарыдал.

Стоя на коленях в снегу, Эггер смотрел на освещенный луной участок, где прежде находился

его дом.

— Мари! Мари! — выкрикивал Эггер имя жены в тишину.

Поднявшись во весь рост, он бесцельно побрел по своей земле. Сверху, по колено, снег походил на порошок, а внизу был твердым и гладким, словно его раскатали, как асфальт. Повсюду валялись дранка с крыши, камни и щепки. Эггер нашел железное кольцо от бочки для дождевой воды и рядом с ним свой сапог. На небольшом возвышении из земли торчал кусок дымовой трубы. Эггер сделал несколько шагов к тому месту, где, как он предполагал, находился вход в дом. Упав на колени, принялся копать. Он копал, пока руки не стали кровоточить, а снег под ним не потемнел. Раскопав за час метра полтора, он наконец почувствовал израненными пальцами развороченные, будто вмерзшие в почву, кровельные перекрытия и перестал копать. Поднявшись, Эггер посмотрел в ночное небо. А потом рухнул и уткнулся лицом в пропитанный кровью снег.

Обрывки различных сообщений о событиях той ночи местные жители неделями собирали воедино и вот наконец-то смогли представить, как все происходило. Лавина сошла в два часа тридцать минут. Метрах в пятидесяти ниже Пас-

тушьей вершины от снежного карниза отделился гигантский ком и с шумом понесся вниз по горе. Склон в том месте почти вертикальный, поэтому лавина очень быстро набрала скорость, оставляя за собой на пути в долину разрушительный след. Снежные массы прогрохотали у самой окраины деревни и достигли противоположной стороны долины, где вызвали сход еще одной лавины, поменьше, а та уже добралась даже до строительного лагеря фирмы «Биттерман и сыновья» на севере и остановилась в одном лишь метре от старой ванны, где простудился позже Томас Матль. Лавина увлекала за собой деревья, вырывая их с корнем, и оставила в земле борозду, доходившую до самого деревенского пруда. Местные вспоминали о глухом взрыве, сопровождавшемся шумом и ревом, как будто бесчисленное стадо коров мчалось с горы к деревне. От ударной волны дрожали оконные стекла, со стен падали фигурки Девы Марии и распятия. Люди мигом покинули дома и хлынули на улицу, бежали, втянув головы в плечи, а вверху висело облако снежной пыли — казалось, оно даже поглотило звезды на небе. Жители собрались у капеллы, хор женских голосов, шепчущих слова молитвы, сливался со злобным рокотом сходящей лавины.

Снежная взвесь постепенно осела, покрыв всю деревню тонкой белой пеленой. Над долиной воцарилась мертвая тишина, и люди поняли, что беда миновала.

Эта лавина опустошила деревню куда сильнее, чем та, что сошла в 1873 году, деревенские старожилы все еще вспоминали ее, а о шестнадцати погибших и теперь напоминают шестнадцать крестов, нацарапанных на алтаре у дома Огфрайнеров. Нынешняя лавина существенно повредила — а где-то и разрушила — четыре двора, два больших овина для сена, водяную мельницу на горном ручье, принадлежащую бургомистру, пять рабочих бараков и отхожее место в строительном лагере. Погибли девятнадцать коров, двадцать восемь свиней, бесчисленное количество кур и все шесть овец, которых держали в деревне. Их туши вытаскивали из снега трактором и голыми руками, а потом сжигали вместе с обломками древесины, ни для чего другого уже не годными. Целыми днями в деревне стоял жуткий запах горелого мяса, перебивая запах окончательно наступившей весны, вместе с приходом которой растаял снег и стали понятны масштабы катастрофы. Тем не менее деревенские собирались по воскресеньям в капелле, чтобы по-

благодарить Господа за Его милость. Одной лишь Божьей милостью и можно объяснить то, что лавина отняла жизнь только у трех человек: у пары пожилых крестьян Зимона и Хедвиг Йонассер, чей дом полностью накрыло снегом — раскопав комнату, их нашли лежащими на кровати лицом к лицу, задохнувшимися, — и у официантки трактира Мари Райзенбахер, молодой невесты Андреаса Эггера.

Спасательный отряд, собранный в ту же роковую ночь, нашел хижину Эггера в снежном плену и его самого, скрючившегося на снегу перед ямой, вырытой голыми руками. Потом ему рассказали, что на том злосчастном месте его нашли лежащим без движения, и никто из них не поставил бы и гроша на то, что в этой темной куче еще теплилась жизнь. Сам Эггер не запомнил ни единой детали своего спасения, хотя до конца жизни носил в сердце сказочный образ: вот в темноте начинают мерцать факелы, а потом они медленно, покачиваясь, будто призраки, приближаются к нему.

Мари извлекли из-под снега, гроб установили в капелле рядом с гробами покойных супругов Йонассер, а затем закопали на деревенском кладбище. В день похорон ослепительно сияло

солнце, над свежим холмиком земли жужжали первые шмели. Больной, оцепеневший от горя Эггер сидел на табурете и принимал соболезнования. Он не понимал, что вокруг говорят, люди протягивали ему руки, а ему казалось — какие-то непонятные предметы.

На последующие недели Эггер нашел пристанище в «Золотой серне». Большую часть времени он проводил лежа на кровати в крошечной каморке за прачечной, место там выделил ему хозяин трактира. Переломы в ногах срастались медленно. Костоправ Алоис Кламерер умер много лет назад — рак сожрал у него половину челюсти, нёбо и ткань щеки, и под конец в ране, как в окошке, виднелись зубы, — так что теперь пришлось обратиться к молодому сельскому фельдшеру, который приехал в деревню в прошлом сезоне и в основном занимался растянутыми, вывихнутыми и сломанными конечностями туристов, прибывающих в долину в большом количестве для пеших походов и катания на лыжах. Фирма «Биттерман и сыновья» заплатила фельдшеру, и Эггер заполучил две ослепительно-белые гипсовые повязки на ногах. К концу второй недели для него приготовили туго набитую соломой подушку, подложили под спину. Теперь он сумел

сидя пить молоко из кружки, а не как раньше, когда мог только лакать из миски. Миновало три недели, Эггер шел на поправку, так что трактирщик и мальчишка, разливающий пиво, каждый день в полдень заматывали его в попону, поднимали с кровати, выносили на улицу и сажали на скамеечку из березы, откуда он видел склон, где прежде стоял его дом, а теперь осталась только нагретая весенним солнцем груда камней.

В конце мая Эггер попросил одного из поварят принести ему остро наточенный мясной тесак. Он долго резал и рубил свои гипсовые повязки, пока наконец не разломил их на две части и не увидел свои ноги. Вот они лежат перед ним на простыне, белые и худые, словно две ветки со снятой корой, и выглядят так чудно́, необычнее, чем тогда, когда он извлекал их из снега несколько недель назад, — заледеневшие и негнущиеся.

Дня два Эггер таскал свое истощенное тело от кровати к березовой скамейке и обратно, пока наконец не обрел уверенность, что ноги его слушаются, достаточно окрепли и сумеют преодолеть большое расстояние. Впервые за долгое время он натянул брюки и направился к своему участку. Проходя по лесу, который лавина пригнула к земле, Эггер смотрел на небо,

полное маленьких круглых облачков, на цветы, прорастающие повсюду между пнями и вырванными с корнем деревьями, — белые, желтые, ослепительно синие. Он хотел разглядеть каждую мелочь, чтобы запомнить эти мгновения навсегда. Хотел понять, что же произошло, но, добравшись спустя несколько часов до участка, увидел разбросанные балки и доски и осознал: понять это нельзя. Усевшись на камень, он думал о Мари. Представлял себе, что происходило той ночью, перед внутренним взором вставали ужасающие картины: вот Мари, выпрямившись, сидит на кровати — руки поверх одеяла, глаза широко распахнуты, — она прислушивается к темноте ровно за секунду до того, как лавина, словно гигантский кулак, пробивает стену, а ее тело поглощает промерзшая земля.

***

Осенью, почти через полгода после схода лавины, Эггер оставил родные края и двинулся дальше вместе с фирмой. Впрочем, для тяжелой работы лесоруба он больше не годился.

— Ну и что нам с тобой делать? — спросил прокурист, когда Эггер беззвучно дохромал по ковру до его стола и остановился с опущенной головой. — Ты ведь теперь ни на что не годен.

Эггер кивнул, а прокурист тяжело вздохнул.

— Сожалею о том, что произошло с твоей невестой, — добавил он. — Только не вздумай связывать сход лавины с нашими подрывными работами! Последний раз взрывали за две недели до того.

— Да я так и не думаю, — ответил Эггер.

Наклонив голову, прокурист довольно долго смотрел в окно.

— Может, ты думаешь, что у гор есть память? — неожиданно спросил прокурист.

Эггер пожал плечами. Нагнувшись, прокурист откашлялся и сплюнул в жестяную миску, стоявшую у его ног.

— Ну ладно, — сказал он наконец. — Фирма «Биттерман и сыновья» построила уже семнадцать подвесных канатных дорог, и, поверь, на этом мы не остановимся. Люди просто помешались на своих лыжах, на этих досточках, только и мечтают о том, чтобы рассекать на них по горам!

Задвинув миску носком ботинка под стол, прокурист серьезно посмотрел на Эггера и продолжил:

— Только Господь Бог знает, почему оно так. Во всяком случае, канатные дороги требуют ремонта, надо проверять тросы, смазывать ходовые колеса, содержать в порядке кабинки и тому подобное. Тебе ведь не обязательно все время стоять на твердой почве?

— Думаю, не обязательно, — ответил Эггер.

— Вот и отлично, — подытожил прокурист.

Эггера включили в небольшую бригаду, теперь он работал среди бородатых мастеров с обожженными горным солнцем лицами, на которых не отражались никакие переживания. Сидя на корточках в кузовах крытых грузовиков, они ездили по горным дорогам — все чаще с гудронированным покрытием — от одной канатной дороги к другой и занимались техническим обслуживанием, которое не поручишь местным, — слишком

уж сложно. Задача Эггера заключалась в том, чтобы, сидя в деревянной люльке, висящей на одной-единственной страховочной веревке и скользящей по стальным тросам при помощи роликового механизма с ручным тормозом, медленно перемещаться вниз по склону и очищать тросы и несущие шарниры от пыли, льда и засохшего птичьего помета, а потом смазывать маслом. На такую работу никто не рвался, поговаривали, что год-другой назад два опытных скалолаза сорвались и погибли, то ли из-за собственной невнимательности, то ли из-за дефекта канатного материала, то ли попросту из-за ветра, временами раскачивающего стальные тросы так, что они отклоняются на несколько метров в ту и другую сторону. Но Эггера такая работа не пугала. Он знал, что жизнь его висит на тонком канате, но, взбираясь на балку, прикреплялся к роликовому механизму, цеплял страховочные карабины и тут же ощущал, как по телу разливается спокойствие, а спутанные, полные отчаяния мысли, укутывающие сердце темной пеленой, постепенно рассеиваются под действием горного воздуха и ничего, кроме чистой печали, не остается.

Месяцами Эггер переезжал из долины в долину, ночами спал прямо в грузовике или в дешевых

пансионах, а целыми днями висел между небом и землей. Он видел, как в горы пришла зима. Работал во время сильнейшего снегопада, соскабливая с каната лед проволочной щеткой, сбивал с несущих опор длинные сосульки, которые, падая в пропасть, разбивались с тихим звоном или беззвучно утопали в снегу. Часто слышал приглушенный рев лавины вдалеке. Иногда ему казалось, что рев приближается, и тогда он вглядывался в склон наверху, ожидая увидеть громадную белую волну, которая, протащив его немного вниз, наконец погребет под собой, а вместе с ним канат, стальные тросы и весь мир. Но каждый раз рев лавины прекращался, сменяясь звонкими криками галок.

Весной маршрут, по которому следовала бригада, привел Эггера обратно в родную долину, где он задержался на некоторое время, чтобы очистить просеку Синей Лизль от коряг и заделать небольшие трещины в фундаменте несущих конструкций. Поселился он опять-таки в «Золотой серне», в той самой комнате, где провел столько дней, лежа с переломами ног. Каждый вечер он спускался с горы в смертельной усталости, доедал, сидя на краю кровати, остатки суточного пайка и проваливался в тяжелый сон без сно-

видений в тот же миг, когда голова его касалась подушки. Как-то раз он проснулся посреди ночи от странного чувства, взглянул на пыльное окошко под потолком и увидел, что все оно покрыто бесчисленным множеством ночных мотыльков. Мерцая в лунном свете, их крылья били по стеклу с едва слышным шорохом, похожим на шелест бумаги. В ту минуту Эггер решил, что появились они не просто так, но так и не понял, что предвещает это знамение, поэтому, закрыв глаза, постарался снова заснуть.

«Это всего лишь мотыльки, — думал он, — глупые маленькие ночные мотыльки».

А когда проснулся рано утром, мотыльки уже исчезли.

Несколько недель Эггер провел в деревне, которая, насколько это возможно, оправилась от последствий лавины, а потом двинулся дальше. Он старался не смотреть в сторону своего участка, не ходить на кладбище и даже не сидеть на той маленькой скамейке из березы. Он отправился в путь, опять висел целыми днями в люльке среди гор, а времена года в долинах под ним сменяли друг друга, как цветные картинки, ни о чем не напоминая, не имея к нему никакого отношения. Позже о годах после лавины Эггер вспоминал как

о времени пустом и безмолвном, которое очень медленно, едва заметно, вновь наполнялось жизнью.

Однажды ясным осенним днем Эггер выронил из рук рулон наждачной бумаги, тот поскакал вниз по склону, как озорной козленок, а внизу слетел со скалистого выступа и исчез где-то в долине, и тогда Эггер, впервые за долгое время, остановился и оглянулся по сторонам. Солнце висело низко над горизонтом, отчетливо просматривались даже далекие вершины, словно только что нарисованные кем-то на небе. Совсем рядом стоял одинокий ярко-желтый клен, за ним паслись коровы, отбрасывая длинные тонкие тени, и они шаг за шагом передвигались вместе с коровами по лугу. Под навесом небольшого загона для телят сидела группа туристов. Эггер слышал, как они разговаривают и смеются, голоса их хоть и казались чуждыми в этой местности, но были приятны. Вот у Мари был голос, как приятно звучал! Эггер попытался вспомнить его интонацию и звучание, но ничего не вышло.

— Хоть бы ее голос мне остался! — сказал он вслух самому себе.

А потом медленно покатил к следующей стальной балке, слез и отправился искать рулон

наждачной бумаги.

Три дня спустя Эггер, проведя весь день под холодным дождем, счищая щеткой ржавчину с заклепок на верхней станции канатной дороги, вечером спрыгнул с платформы грузовика и направился в маленький пансион, где жил вместе с другими рабочими. В свою комнату он проходил через хозяйскую гостиную, пахнувшую маринованными огурчиками. Пожилая хозяйка сидела в одиночестве, поставив локти на стол, а голову пряча за руками. Перед нею стоял большой радиоприемник, откуда в такое время обычно либо звучал концерт медных духовых инструментов, либо извергались речи разгневанного Адольфа Гитлера. На этот раз приемник молчал, и Эггер слышал, как старушка вздыхает, прикрывая лицо ладонями.

— Вам нехорошо? — спросил Эггер.

Подняв голову, хозяйка взглянула на него. На лице ее виднелись отметины от пальцев, побелевшие полоски, которые стали медленно розоветь, наполняясь кровью.

— Началась война, — ответила хозяйка.

— Кто сказал? — удивился он.

— Вот, по радио передают… — сказала старушка, бросив враждебный взгляд на приемник.

Буквально двумя движениями она распустила пучок на затылке. Длинные, желтые, как льняное волокно, волосы упали на плечи. Старушка отрывисто дернулась, словно вот-вот зарыдает. Но она встала, прошла мимо Эггера, а потом по коридору вышла на улицу, где к ней бросилась грязная кошка и довольно долго терлась у ног, пока они вместе не скрылись за углом.

На следующее утро Эггер отправился домой, чтобы заявить о желании заступить на военную службу. Это решение он не обдумывал. Оно просто само появилось в голове, словно неведомый зов издалека, и Эггер понял: надо ему последовать. В семнадцать лет его вызвали на медицинский осмотр, но тогда Кранцштокер успешно выразил протест, заявив, что если у него отнимают любимого приемного сына, который, к слову, является еще и самым ценным работником в семье, притом отнимают, мол, чтобы погубить в бою против макаронников или, что еще хуже, лягушатников, то могут с таким же успехом сжечь к чертям все его хозяйство, господи прости! Тогда Эггер втайне испытал чувство благодарности. Пусть ему и нечего было терять в жизни, но все же предстояло еще кое-что обрести. А теперь — совсем другое дело.

Погода установилась относительно спокойная, поэтому Эггер отправился в путь пешком. Он шагал весь день, провел ночь в старом овине и двинулся дальше еще до восхода солнца. Прислушивался к равномерному жужжанию телефонных проводов, которые с недавних пор тянулись вдоль дорог от одного тонкого столба к другому, наблюдал, как горы вырастают из ночной мглы с первыми лучами солнца. Эту картину он видел тысячу раз, но в то утро она необыкновенно растрогала его. Эггер не припоминал, чтобы видел в жизни что-либо столь же прекрасное, но одновременно внушающее такой страх.

В деревне он пробыл недолго.

— Староваты вы. Да еще и хромаете, — рассудил офицер, сидевший в «Золотой серне» за столом, покрытым белой скатертью и украшенным флажками со свастикой, вместе с бургомистром и пожилой машинисткой составляя военно-призывную комиссию.

— Я хочу на фронт, — заявил Эггер.

— Думаете, вы пригодны для службы в вермахте? — спросил офицер. — За кого вы нас принимаете?

— Не делай глупостей, Андреас, и возвращайся к работе, — велел бургомистр, это и стало реша-

ющим словом. Машинистка поставила печать на единственном листке протокола, и Эггер вернулся к своим канатным дорогам.

Не прошло и четырех лет, как в ноябре 1942 года Эггер предстал перед той же комиссией, на этот раз не в качестве добровольца, а в качестве призывника. Он понятия не имел, зачем вермахту вдруг мог понадобиться такой, как он, но стало ясно: времена изменились.

— Что вы умеете? — спросил офицер.

— Я хорошо ориентируюсь в горах, — ответил Эггер. — Умею чистить наждачной бумагой стальные тросы и выдалбливать в скалах дыры.

— Пойдет, — сказал офицер. — Вы когда-нибудь слышали про Кавказ?

— Нет, — ответил Эггер.

— Ну что ж, не страшно, — заявил офицер. — Андреас Эггер, объявляю вас годным к военной службе. Перед вами стоит почетная задача — освобождение Востока!

Эггер выглянул в окно. На улице начался дождь, крупные капли били по стеклу, в помещении трактира стало темно. Краем глаза он заметил, как бургомистр, наклонившись, уперся взглядом в стол.

В общей сложности Андреас Эггер провел в Рос-

сии более восьми лет, из которых на фронте не был и двух месяцев, а все остальное время сидел в лагере для военнопленных, расположенном в степных просторах близ северного побережья Черного моря. Поначалу задание казалось ему довольно ясным: помимо освобождения Востока им поручили обеспечивать сохранность нефтяного месторождения, защиту и техническое обслуживание запланированных нефтяных вышек, но вот прошло несколько дней, и Эггер уже не мог с уверенностью ответить, для чего он здесь и ради чего или против кого сражается. В непроглядной тьме кавказских зимних ночей, когда за вершинами гор на горизонте сияют вспышки артиллерийского огня, похожие на раскрывающиеся бутоны, а отблеск их ложится на исполненные страха и отчаяния или безразличия лица солдат, всякая мысль о смысле или бессмыслице происходящего, наверное, погибает еще в зародыше. Эггер ни о чем не задумывался. Он выполнял приказы — вот и все. Считал, что мог оказаться в несравнимо худшем положении. Так Эггер провел в горах несколько недель, пока однажды два молчаливых сослуживца, которые хорошо ориентировались на местности, не отвели его к узкому скалистому плато, располагавшемуся на

высоте около четырех тысяч метров. Старший по званию объяснил, что ему следует находиться там, пока не прикажут вернуться, сделать отверстия для взрывчатки, охранять передовую позицию и при необходимости удерживать ее. Эггер понятия не имел, о какой передовой позиции речь и что вообще военные понимают под «позицией», но недовольства из-за такого поручения не испытывал. Товарищи оставили Эггера одного с инструментами, палаткой, ящиком продуктов и обещанием, что будут возвращаться раз в неделю, чтобы пополнить запасы, и он принялся обустраивать стоянку, насколько это возможно. Дни напролет он высверливал в скалах десятки дыр, предварительно очищая их от толстого слоя льда, а ночами, лежа в своей палатке, пытался уснуть, несмотря на лютый мороз. Из снаряжения у него имелся спальный мешок, два одеяла, зимние сапоги на меху да толстая стеганая куртка, часть обмундирования горнострелковых войск. Кроме того, палатку он наполовину укрыл под промерзшим снежным карнизом, который хотя бы чуточку защищал ее от ветра, завывавшего порой невероятно громко, заглушая рев бомбардировщиков и глухие залпы зенитных орудий. Но всего этого не хватало, что-

бы согреться. Казалось, мороз пробирается через каждый шовчик в палатку, под одежду, даже под кожу, впивается в каждую клетку тела. Разведи он огонь — заработал бы смертную казнь, но будь это даже разрешено, плато находится куда выше границы лесов, и кругом не найти ни единой веточки, которую Эггер мог бы подпалить. Иногда он разжигал маленький примус и разогревал на нем консервы. Но крохотный огонек словно издевался над ним. Обжигая кончики пальцев, он создавал ощущение, будто все тело замерзает еще сильнее. Эггер страшился ночей. Он лежал, завернувшись в спальный мешок, от холода из глаз текли слезы. Иногда он видел сны. Сны, наполненные болью, искаженными лицами преследователей, которые появлялись из вечной пурги, что кружила в его сознании. Раз он вдруг резко пробудился от такого сна, вообразив, будто нечто мягкое и подвижное забралось в палатку и уставилось на него.

— Боже… — прошептал Эггер едва слышно, а потом сердце его стало понемногу успокаиваться.

Стянув спальный мешок, он выбрался из палатки. Небо было беззвездное, черное как смоль. Вся округа погрузилась во мрак и совершенную тишь. Присев на камень, Эггер вглядывался в

темноту. Он вновь услышал биение своего сердца и тут же понял: он не один. Сказать, откуда появилось это ощущение, он не мог, ведь видел только черноту ночи и слышал только, как бьется его собственное сердце, но он чувствовал, что где-то поблизости находится еще одно живое существо. Эггер не знал, как долго просидел на камне у палатки, вслушиваясь в темноту, но еще до того, как над горными вершинами показались первые полосы бледного света, понял, где находится тот, другой.

На той стороне ущелья, ограничивающего плато с западного края, метрах в тридцати по прямой, в скале виднелся выступ, совсем узкий, там и козочка не уместилась бы. Именно на этом выступе стоял русский солдат — чем ярче начинало светить солнце, тем четче виднелся его силуэт. Он просто стоял на месте и смотрел на Эггера, который не понимал, отчего тот стоит так неподвижно, однако и сам, все еще сидя на камне, не решался двигаться. Солдат был молод, кожа молочного цвета выдавала в нем городского жителя. Лоб гладкий и белоснежный, глаза необычные, раскосые. Оружие — винтовка Мосина без штыка — висела на ремне через плечо, рукой он спокойно придерживал ствол. Русский

солдат разглядывал Эггера, Эггер разглядывал русского солдата, а кругом, в абсолютном безмолвии и свете зимнего утра, высились Кавказские горы. Позже Эггер не мог припомнить, кто же первым пошевелился, помнил лишь, как солдат дернулся всем телом и как сам он встал. Убрав руку с винтовки, солдат вытер рукавом лоб. А потом развернулся и быстро, ловко, ни разу не оглянувшись, вскарабкался чуть выше и исчез среди скал.

Еще минуту Эггер стоял на месте, размышляя. Он понимал, что встретился лицом к лицу с заклятым врагом, но все же, когда солдат ушел, он почувствовал себя одиноким как никогда.

Поначалу товарищи Эггера, как и договаривались, приходили раз в неделю, пополняли запас продовольствия, приносили, если надо, пару шерстяных носков или новое сверло и рассказывали последние новости с фронта: были и победы и поражения, перевес сил то на одной стороне, то на другой, а толком никто ничего не знал. Спустя несколько недель они перестали приходить, а к концу декабря, сразу после Рождества — Эггер считал дни, царапая отметки сверлом на льду, — он стал подозревать, что больше и вовсе никто не объявится. Выждав в одиночестве еще неделю,

1 января 1943 года Эггер побрел сквозь сильную вьюгу обратно в лагерь. Он шел тем же путем, каким поднимался на плато почти два месяца назад, и испытал облегчение, увидев вдалеке знакомый проблеск красного флага со свастикой. Однако не прошло и двух секунд, как Эггер вдруг осознал: границы лагеря перед ним отмечали не флаги со свастикой, а знамена Советского Союза. В тот миг он оказался обязан жизнью лишь тому хладнокровию, с каким сорвал с плеча винтовку и отшвырнул ее от себя столь далеко, сколь только смог. Он отметил, как та с глухим шелестом утонула в снегу, а потом и глазом моргнуть не успел, как закричали, спеша к нему навстречу, солдаты караула. Вскинув вверх руки, Эггер рухнул на колени и опустил голову. Он почувствовал удар в затылок и упал лицом вперед, а потом услышал кругом низкие голоса русских солдат, казавшиеся неясным шумом из какого-то другого мира.

Два дня Эггер, скрючившись, просидел вместе с другими двумя пленными в наспех сколоченном и обитом изнутри войлоком деревянном ящике шириной полтора на полтора метра, а высотой едва ли в половину человеческого роста. Большую часть времени он, глядя наружу сквозь щель, пытался по движениям русских солдат

уловить хоть какой-то намек на свое будущее. На третий день солдаты с жутким треском вытащили гвозди из досок, одна стенка упала, и зимний свет так сильно ударил в глаза, что Эггер испугался: а сможет ли он вообще когда-нибудь их открыть? Он смог, но острое воспоминание об ослепляющем ярком свете, который отныне сиял для него даже ночами, долго жило в нем и вслед за освобождением из плена, а померкло лишь спустя много лет после того, как он возвратился домой.

Шесть дней длился этап до лагеря под Ворошиловградом, все это время Эггер сидел с другими пленными в тесноте на открытой площадке грузовика. Чудовищная была поездка. Холодными днями и морозными ночами они ехали под темным небом, растерзанным артиллерийским огнем, по широким снежным полям, мимо торчащих из земли окоченевших останков людей и лошадей. Сидя сзади, на самом краю погрузочной площадки, Эггер замечал бесчисленные деревянные кресты по обочинам дороги. Он вспоминал ту книгу, откуда Мари часто читала ему вслух отрывки. Как мало общего имеет описанный там зимний пейзаж с этим промерзшим искалеченным миром!

Один из пленных, маленький и коренастый, пытавшийся согреться, пряча голову под драной конской попоной, как-то сказал Эггеру: он, мол, не видит в крестах ничего печального — они лишь указывают путь на небо. Звали его Хельмут Мойдашль, и рассмешить его могло что угодно. Он смеялся над снегом, бьющим прямо в лицо, над черствыми, каменными краюшками хлеба, которые им вываливали из мешка прямо в кузов.

— Из такого хлеба можно приличный дом построить! — заявлял он и заливался смехом, таким заразительным, что смеяться начинали даже русские солдаты, ехавшие с ними.

Иногда он махал рукой старухам, осматривающим припорошенные снегом трупы в поисках сносной одежды или еды.

— Если путь лежит прямо в ад, почему бы не помахать чертям? — пояснял он. — Мне это ничего не стоит, а путь становится повеселее.

Хельмут Мойдашль стал первым в длинном ряду людей, умерших в Ворошиловграде на глазах Эггера. В первую же ночь после прибытия у него началась сильная лихорадка, в бараке часами слышались его приглушенные крики: Мойдашль закусывал край одеяла. А наутро его нашли мертвым: он лежал в углу, схватившись руками за

голову, полуголый и съежившийся.

Прошло несколько недель, и Эггер перестал считал мертвецов, которых хоронили в березовой рощице за лагерем. Смерть приходит в нашу жизнь так же, как плесень появляется на куске хлеба. Смерть — это лихорадка. Голод. Щель в стене барака, сквозь которую со свистом задувает внутрь зимний ветер.

Эггера определили в рабочий отряд численностью в сто человек. Они работали то в лесу, то в степи, рубили деревья, сооружали низенькие стены из булыжника, собирали картошку и хоронили тех, кто умер прошлой ночью. Зимой он ночевал в бараке, который делил с двумя сотнями других пленных. Но как только погода позволяла, он ложился спать снаружи на куче соломы. Так случилось, что однажды теплой ночью кто-то по незнанию включил электрическое освещение в бараке, и с потолка тут же посыпались тысячи клопов — с тех пор Эггер куда охотнее спал под открытым небом.

Андреас Эггер узнал об окончании войны, когда сидел в общей уборной над дыркой в полу, а вокруг него с жужжанием роились блестящие зеленые мухи, — дверь вдруг распахнулась, в щель просунулся русский надзиратель и прокричал:

— Гитлер капут! Гитлер капут!

Эггер продолжал сидеть, ничего не отвечая, поэтому русский надзиратель захлопнул дверь и со смехом пошел прочь. Секунду-другую слышался его затихающий смех, а потом завыла сирена, призывая пленных к построению.

И трех недель не прошло, как Эггер позабыл об эйфории надзирателя и о своих вспыхнувших в ту минуту надеждах. Война, бесспорно, закончилась, но ощутимого влияния на лагерную жизнь этот факт не оказал. Работали они как раньше, пшенная похлебка стала еще жиже, а мухи так и кружили, совершенно не впечатлившись новостью об окончании войны. К тому же многие пленники считали, что война прекратилась лишь временно. Гитлер, мол, действительно мертв, но за каждым безумцем стоит еще один, с куда более сумасшедшими идеями, в конечном счете это лишь вопрос времени, и все однажды начнется заново.

Однажды, необыкновенно мягкой зимней ночью, Эггер сидел у барака, завернувшись в одеяло, и писал письмо своей погибшей жене Мари. Расчищая от завалов сгоревшие дотла дома в деревне поблизости, он нашел почти не поврежденный листок бумаги и огрызок карандаша,

которым теперь медленно и неуверенно выводил крупные буквы:

Моя дорогая Мари!

Я пишу тебе из России. Тут не так уж плохо. Есть работа и кое-какая еда, нет гор, поэтому небо такое широкое, что не охватить взглядом. Только холода не такие, как у нас дома. Если бы только у меня был хоть один мешочек с тряпьем, пропитанным керосином, как тогда, было бы уже хорошо. Но я не жалуюсь. Некоторые, окоченев, лежат в снегу, а я все еще могу смотреть на звезды. Может, и ты видишь звезды. К сожалению, пора заканчивать письмо. Я пишу медленно, а солнце за холмами уже встает.

Твой Эггер

Сложив письмо несколько раз, он зарыл его в землю под ногами. А затем, взяв одеяло, пошел обратно в барак. Эггер провел в России еще около шести лет. Ничто не предвещало освобождения, но однажды летом 1951 года, с утра пораньше, пленных собрали на площадке перед бараками, где велели им раздеться догола, а одежду бросить в большую, вонючую кучу. Всю ее полили

бензином и подожгли. В лицах наблюдавших за пламенем людей читался страх, что их вот-вот расстреляют или еще что похуже. Но русские смеялись, громко переговаривались друг с другом, а когда один из надзирателей схватил какого-то пленного за руку и стал танцевать вокруг костра с этим голым, истощенным привидением шуточный парный танец, тогда все поняли, что наступившее утро — доброе.

Получив по новому костюму и горбушке хлеба, пленные покинули лагерь в тот же час и пешком, организованной колонной, направились к ближайшей железнодорожной станции. Эггер оказался в одном из последних рядов. Прямо перед ним шел юноша с большими, всегда как будто испуганными глазами, который начал жадно вгрызаться в свою горбушку хлеба, едва сделав несколько шагов. Проглотив последний кусочек, он оглянулся на лагерь, оставшийся в километре позади их колоны и едва различимый в мерцающем свете солнца. С ухмылкой он открыл было рот, желая что-то сказать, но издал лишь сдавленный стон, а потом заплакал. Он рыдал, всхлипывал, слезы и сопли ручьями стекали по грязным щекам. Высокий человек преклонных лет, с копной седых волос и расцарапанным

лицом, подошел к нему, положил руку на трясущееся от рыданий плечо и сказал, дескать, будь добр, прекращай реветь, от слез никакой пользы, только воротник рубашки намочишь, да и к тому же плач заразен, как лихорадка и бубонная чума, а желания пройти несколько тысяч километров до дома среди хныкающих девок у него нет. А еще, дескать, разумнее приберечь слезы для дома, там уж точно будет достаточно причин расплакаться. Юноша прекратил рыдать, но Эггер, находясь в двух шагах позади него, еще долго слышал всхлипы, с которыми тот глотал слезы и оставшиеся крохи хлеба.

***

По возвращении домой Андреас Эггер первое время жил в деревянном сарайчике позади недавно построенной школы — с одобрения бургомистра это помещение ему выделила община. Бургомистр отказался от нацистских идей, и теперь на фасадах домов вместо флагов со свастикой висели горшки с геранью, да и вообще в деревне многое поменялось. Улицы стали шире. То и дело, по нескольку раз в день, за окном начинали тарахтеть автомобили, причем все реже встречались старые грузовики с дизельными чудищами-моторами, испускающими едкий дым. Сверкающие всеми красками машины со свистом влетали в долину, останавливаясь на деревенской площади, чтобы высадить отпускников, путешественников и лыжников. Многие крестьяне сдавали им комнаты, а свинарники и курятники опустели. Вместо животных там теперь находились лыжи и лыжные палки, пахло воском, а не навозом и не птичьим пометом, как прежде. У «Золотой серны» появился конкурент. Изо дня в день трактирщик поносил на чем свет

стоит только что открывшуюся гостиницу «У Миттерхофера», щеголявшую на противоположной стороне улицы фасадом цвета нежной зелени и блестящей вывеской «Добро пожаловать!» над входом. Хозяин «Золотой серны» ненавидел старика Миттерхофера. Он не понимал, как это крестьянину вдруг пришла в голову идея отставить в уголок навозные вилы и поселить у себя туристов вместо скотины.

— Крестьянин есть крестьянин, трактирщиком ему не стать! — заявлял он.

Хотя в глубине души и ему пришлось признать, что конкуренция его делу ничуть не повредила, даже наоборот. Старик трактирщик, страдавший рассеянностью, умер в конце шестидесятых, но единственная дочь его, помимо «Золотой серны», унаследовала еще три гостиницы, несколько гектаров земли, кегельбан в бывшей конюшне Лоидольта и доли в двух горнолыжных подъемниках, что превратило незамужнюю и слегка закоснелую женщину далеко за сорок в одну из самых завидных невест долины.

Перемены Эггер принял с безмолвным удивлением. По ночам он слышал скрежет металлических опор, стоявших вдалеке, на склонах, которые теперь назывались «трассами скорост-

ного спуска», а по утрам часто просыпался от криков школьников за стеной, где размещалась его кровать, — но стоило учителю войти в класс, как они вмиг умолкали. Он вспоминал свое детство и короткие школьные годы: тогда казалось, что они тянутся бесконечно, а сейчас — будто и глазом моргнуть не успел, а они закончились. Время вообще сбивало Эггера с толку. Его судьба извивалась, как крутая дорога, во все стороны, воспоминания о разных событиях путались, они то и дело приобретали новое значение. Так, в России он прожил куда больше времени, чем вместе с Мари, но все равно — годы, проведенные на Кавказе и в Ворошиловграде, казались ему не длиннее последних дней с женой. Работа в строительной бригаде на канатных дорогах в воспоминаниях умещалась в один сезон, но в то же время он, по ощущениям, полжизни провисел на перекладине в хлеву, смотря в пол и подставляя узкий белый зад вечернему небу.

Через несколько недель после возвращения на родину Эггер встретил старого Кранцштокера. Тот сидел у своего дома на шаткой табуреточке, а Эггер поприветствовал его, проходя мимо. Кранцштокер медленно поднял голову и не сразу узнал Эггера.

— Это ты, — проскрипел он стариковским голосом. — Как назло, именно ты!

Эггер остановился перед немощным стариком — тот пристально разглядывал его желтыми глазами. Руки на коленях, сухие, как хворост, кажущийся абсолютно беззубым рот приоткрыт. Эггер слышал, будто двое сыновей Кранцштокера не вернулись с войны, а он тогда пытался повеситься на притолоке в кладовой. Но хрупкая древесина не выдержала веса старика, и тот выжил. С тех пор старый крестьянин проводил дни, тоскуя о смерти. Смерть он видел на каждом углу и вечером точно знал, что вместе с сумерками, укрывшими долину, придет к нему и вечный покой. Но на следующее утро он вновь просыпался, став еще немощнее и угрюмее, все сильнее разъедаемый своей тоской по смерти.

— Подойди, — попросил он, вытянув вперед шею, как петух. — Дай-ка посмотреть на тебя.

Эггер шагнул навстречу старику. Щеки Кранцштокера впали, волосы, некогда черные и блестящие, тонкой белесой паутиной свисали с головы.

— Мне уж недолго осталось, смерть никого не пропустит, — начал он. — Я слышу ее шепот на каждом углу, но это лишь соседская корова померла, или собака какая, или заблудшая душа

крадется мимо…

Эггер стоял как вкопаный. Он снова почувствовал себя ребенком, он боялся, что старик вот-вот поднимется и нависнет над ним горой.

— А сегодня вот ты… — продолжал Кранцштокер. — Такие-то и околачиваются тут, ходят кругом. А другие не приходят уже никогда. Такая вот справедливость. Был Кранцштокером, а теперь что, в кого я превратился? В кучу гнилых костей, и хватает меня лишь на то, чтобы не рассыпаться в пыль тут же, на месте. Всю жизнь я прошел с высоко поднятой головой, которую преклонял только перед Господом, когда молился, и больше ни перед кем. И как Господь меня отблагодарил? Отобрал двоих сыновей. Оторвал кусок плоти от тела. Но этому мерзавцу все мало, не всю еще кровушку выпил он у старого крестьянина, поэтому заставляет меня с утра до вечера сидеть перед домом, ожидая смерти. И вот я уже весь зад просидел, а смерть не приходит, бродят кругом одни коровы, да тени, да ты, как назло, именно ты!

Кранцштокер посмотрел на свои высохшие, покрытые пятнами руки. Дышал он тяжело, с тихим свистом. Как вдруг вскинул голову, вытянул руку вперед и схватил Эггера.

— Теперь твоя очередь! — выкрикнул он дрожащим от возбуждения голосом. — Теперь ты можешь меня ударить! Ударь меня, слышишь? Ударь, прошу тебя! Прошу, забей меня уже насмерть!

Почувствовав, как пальцы старика впиваются ему в руку, Эггер вдруг ощутил в душе леденящий ужас. Вырвавшись, он отступил на шаг. Кранцштокер опустил руку да так и остался сидеть на своем месте, устремив взгляд в землю. Эггер отвернулся и пошел прочь.

Проходя по улице, заканчивающейся уже за пределами деревни, он почувствовал непривычную пустоту внутри. Глубоко в душе он жалел старика-крестьянина. Перед глазами стояла его шаткая табуреточка, и Эггер пожелал старику удобный стул и теплое одеяло, но в то же время пожелал и смерти. Он поднимался по узкой тропке, пока не дошел до Холмистой низины. Наверху земля была рыхлой, а трава невысокой и темной. На кончиках стеблей дрожали капельки воды, весь луг блестел, словно усеянный бусинами. Эггера поражало упрямство, с которым капельки держались на стебельках, а ведь знали, что все равно упадут и растворятся в земле или вообще испарятся, превратившись в ничто.

Кранцштокер обрел покой лишь много лет спустя, в конце шестидесятых, одним осенним днем, сидя в своем доме и слушая радио. Чтобы разобрать хоть слово, он низко наклонился над столом и приложил ухо прямо к динамику. Диктор объявил, что сейчас прозвучит концерт духового оркестра, как вдруг старик вскрикнул, заколотил кулаком по груди, а потом свалился со стула и упал замертво под жестяной грохот музыки.

Во время похорон дождь лил как из ведра, похоронная процессия медленно двигалась по улице, люди по щиколотку утопали в грязи. Эггеру и самому тогда было уже за шестьдесят, шел он последним. Он думал о крестьянине, который всю жизнь отгонял кулаками свое же счастье. Под проливным дождем процессия проходила мимо маленькой гостиницы, устроенной на бывшей ферме Ахмандля, как вдруг оттуда послышался громкий и необычайно звонкий детский смех. В одном из окон через щель мерцал свет. Сын хозяина сидел в комнате перед огромным телевизором, совсем близко к экрану. На лбу его как будто мелькали отблески экранного света, в одной руке он крепко сжимал антенну, а другой, смеясь, лупил себя по ноге. Мальчик смеялся

так задорно, что Эггер даже различил, несмотря на пелену дождя, брызги слюны на матовом экране телевизора. Он захотел остановиться, прислониться лбом к окну и тоже смотреть телевизор, смеясь вместе с ребенком. Но мрачная и безмолвная похоронная процессия двигалась дальше. Впереди Эггер видел плечи скорбящих, по которым тонкими ручейками стекали капли дождя. Ехал катафалк, покачиваясь, как корабль на волнах, и смеркалось, а детский смех оставался позади, становясь все тише.

Андреас Эггер не раз задавался вопросом, стоит ли ему приобрести телевизор, но так этого и не сделал. То на телевизор не хватало денег, то времени его купить, то не находилось места, и в целом Эггеру казалось, что для такой серьезной инвестиции все никак не складываются условия. Ему недоставало усидчивости, чтобы часами всматриваться в мерцающий экран, как другие. К тому же, если долго смотреть телевизор, затуманится взгляд и размягчится мозг, так считал он втайне. И все же благодаря телевидению Эггер приобрел два впечатляющих воспоминания, которые впоследствии нередко выуживал из глубин памяти и перебирал с пугающе отрадным чувством. Первое относится к вечеру в «Золотой

серне», где тогда только-только появился новехонький телевизор марки «Империал». До того Эггер не заходил в трактир несколько месяцев, а потому удивился, когда вошел и вместо привычной тихой болтовни посетителей услышал как будто металлические, искаженные тихим шумом голоса из телевизора. Обернувшись, он увидел, что человек семь или восемь сидят за разными столиками и зачарованно вглядываются в аппарат размером с ящик. Впервые в жизни Эггер увидел телевизионное изображение так близко. Картинки на экране магическим образом сменяли друг друга, словно это само собой разумеется, открывали для сидящих в душном помещении «Золотой серны» мир, о существовании которого Эггер прежде не имел ни малейшего понятия. Эггер видел узкие высокие дома, чьи крыши устремлялись в небо, как перевернутые сосульки. Из окон сыпались обрывки бумаги, люди на улицах смеялись, кричали, подбрасывали шляпы в воздух, казались совершенно обезумевшими от радости. Не успел Эггер сообразить, что происходит, на экране будто произошел беззвучный взрыв, картинка разлетелась на кусочки, из которых — и секунды не прошло! — сложилась уже другая сцена. На деревянных скамьях сидели

мужчины в рубашках с коротким рукавом и рабочих комбинезонах, наблюдая, как темнокожая девочка лет десяти стоит на коленях в клетке и гладит гриву растянувшегося на полу льва. Вот зверь зевнул, растягивая свою пасть на весь экран, да так, что можно разглядеть даже слюну. Публика хлопала в ладоши, а девочка прижалась ко льву, и на миг показалось, будто она исчезла в его гриве. Эггер рассмеялся. Смеялся он скорее от смущения, потому что не представлял, как следует вести себя, когда смотришь телевизор в присутствии других людей. Он стыдился своего незнания. Чувствовал себя ребенком, наблюдающим за взрослыми непонятными делами: все это довольно интересно, но не касается его лично.

А потом на экране появилось то, что затронуло самое его сердце. Из самолета на трап выходила молодая женщина. Не просто случайная женщина, спускающаяся по узкому трапу на летное поле, а самое красивое создание, какое Эггер видел в жизни. Звали ее Грейс Келли, имя это звучало необыкновенно, такого он никогда не слышал, но в то же время казалось, что лишь оно идеально ей подходит. Она, одетая в короткое пальто, махала рукой людям, толпившимся у трапа на летном поле. Кучка репортеров ринулась к ней навстречу,

они тут же, на одном дыхании, стали закидывать ее вопросами, и пока она отвечала, солнечный свет струился по светлым волосам и тонкой, гладкой шее. Эггер содрогнулся от мысли, что эти волосы и эта шея — не просто плод воображения, нет, где-то в этом мире есть человек, который к ним прикасался, хоть бы и кончиками пальцев… А то и рукой. Грейс Келли помахала еще раз и рассмеялась, растягивая темные губы в широкой улыбке. Эггер вышел из трактира. Он побродил по деревенским улицам, а потом присел на ступени у входа в капеллу. Смотрел на землю, истоптанную бесчисленными поколениями грешников, и ждал, когда сердце вновь успокоится. Смех Грейс Келли и грусть, которую Эггер увидел в ее глазах, взволновали его душу, но он и сам не понимал, что происходит. Еще долго он сидел все там же, а потом, после наступления темноты, вдруг понял, что на улице похолодало, и отправился домой.

Случилось это в конце пятидесятых. А вот второе, совсем не похожее на первое, воспоминание Эггера о необычайном переживании, связанном с телевизором, относится к куда более позднему времени, к лету 1969 года, когда телевизор почти в каждом доме стал центром и главной целью, ради которой семья собиралась вечерами вместе. В тот

день Эггер, а также почти сто пятьдесят жителей деревни сидели в зале дома церковной общины и наблюдали, как два молодых американца впервые вышли на Луну. Почти все время, что длилась передача, в зале царила напряженная тишина, но стоило Нилу Армстронгу поставить ногу на пыльную лунную поверхность, как все с ликованием закричали, как будто с тяжелых плеч каждого крестьянина свалился какой-то груз. А после взрослым бесплатно наливали пиво, детям раздавали сок и пончики с повидлом, член общинного совета произнес небольшую речь о громадных усилиях, благодаря которым такое чудо стало возможным, а человечество, вероятно, сможет выдвинуться еще бог весть куда. Эггер аплодировал вместе с остальными, в то время как на телеэкране по поверхности Луны, высоко в небесах и прямо над ними, непостижимым образом расхаживали призрачные американские космонавты, и в этот миг Эггер ощущал таинственную близость и связь с жителями деревни, сидящими тут, внизу, на Земле, в затемненном зале, в стенах еще пахнущего свежей краской дома церковной общины.

Вернувшись из России, Эггер в тот же день направился в лагерь строительной фирмы «Бит-

терман и сыновья». Спроси он у кого-нибудь заранее, как поживает фирма, идти никуда бы не пришлось. Бараки исчезли. Лагерь опустел. Только кое-где остатки бетона да поросшие сорной травой деревянные балки теперь указывали на то, что прежде тут работали и жили люди. Там, где сидел за письменным столом прокурист, ныне распустились белые цветочки.

В деревне Эггер узнал, что фирма обанкротилась вскоре после войны. За год до того оставшихся рабочих перебросили на производство оружия вместо производства стальных несущих конструкций и двойных лебедок, так как фирма откликнулась на отчаянный призыв родины о помощи. Старик Биттерман слыл ярым патриотом, еще в Первую мировую он потерял руку до локтя и осколок правой скулы на Западном фронте, а сейчас ставил прежде всего на производство карабинов и шариковых шарниров для штурмовых орудий. Шарниры получались качественными, но одна из частей магазина ломалась при нагреве, что повлекло за собой ужасающие последствия на фронте, и в конце концов старик Биттерман пришел к выводу, что на нем лежит немалая вина за то, что война была проиграна. Он застрелился в лесу за домом, для надежности

взяв старое охотничье ружье своего отца. Лесник нашел его тело под заросшей дикой яблоней, из раздробленного черепа торчала металлическая пластина с гравировкой *23.11.1917*.

Строительством и обслуживанием канатных дорог теперь занимались другие компании, но куда бы Эггер ни обращался — ему везде отказывали. Мол, он больше не подходит для такой работы. После войны прошло немного лет, но все же достаточно, чтобы от старых технологий в строительстве успели отказаться, и для такого, как он, к сожалению, нет места в мире современного транспорта.

Вечерами Андреас Эггер сидел на краю кровати и рассматривал свои руки. Они лежали на коленях, тяжелые и темные, как болотная грязь. И кожа задубелая, растрескавшаяся, будто звериная лапа. О годах, проведенных среди скал и в лесу, напоминали шрамы — каждый из них, если Эггеру удавалось вспомнить конкретный случай, мог рассказать о неудаче, старании или успехе. После той ночи, когда он руками раскапывал снег в поисках Мари, ногти его покрылись трещинами, а по краям стали врастать в кожу. Ноготь на одном большом пальце совсем почернел, в центре виднелась впадинка. Поднеся руки близко к ли-

цу, Эггер разглядывал кожу на тыльной стороне ладоней, она выглядела как помятое льняное полотно. На кончиках пальцев — мозоли, на костяшках — шишки. В ранках и морщинках застряла грязь, которую не отмоешь ни щеткой для лошадей, ни хозяйственным мылом. Под кожей виднелись выступающие вены, а поднеся руки к окну, к сумеречному свету, Эггер увидел, что они слегка дрожат. «Руки старика», — подумал он, снова положив их на колени.

Некоторое время Эггер жил на денежное пособие, которое платили тем, кто вернулся с войны. Но этих денег хватало только на самое необходимое, и Эггер понял, что придется ему, как в юности, браться за любую случайную работу. Как и тогда, он ползал в погребах и на сеновалах, разгружал мешки с картошкой, надрывался в поле или убирал навоз в оставшихся хлевах и свинарниках. Он по-прежнему не отставал от других, более молодых работников, а иногда и вовсе взваливал на спину внушительные связки сена высотой метров до трех и медленно, шатаясь, поднимался по отвесному кормовому лугу. Его кривая нога к тому времени почти утратила чувствительность в области колена, и стоило Эггеру повернуть голову хоть на сантиметр, как он

тут же ощущал в шее острую боль, раскаленной нитью тянущуюся до кончиков пальцев — из-за этой боли засыпал он, только неподвижно лежа на спине.

Летним утром 1957 года Андреас Эггер поднялся с постели задолго до восхода солнца и пошел на улицу. Его разбудили боли, а прогулка на воздухе, ночном и прохладном, приносила облегчение. Козьей тропкой он прошел по общинному лугу, слегка уходящему вбок, обогнул две скалистые глыбы, которые возвышались над лугом, словно спины спящих животных, а потом почти час поднимался по непроходимому склону среди валунов до пика Пропасти. Тем временем забрезжил рассвет, вдали запылали вершины гор. Эггер как раз собирался сесть, чтобы срезать складным ножом кусок разодравшейся кожаной подметки, как вдруг из-за скалы показался какой-то человек, старик, и с широко распростертыми руками бросился к Эггеру.

— Милый человек, господин хороший! — крикнул он. — Вы в самом деле не мираж?

— Полагаю, нет, не мираж, — ответил Эггер и увидел, как в скалах показалась еще одна фигура и навстречу ему, спотыкаясь, вышла старушка.

Оба выглядели жалко, растерянно, дрожали от

изнурения и холода.

Старик, собиравшийся броситься навстречу к Эггеру, заметил в руках у того нож и остановился.

— Вы ведь не собираетесь нас убивать? — испуганно выпалил он.

— Господи, помилуй нас, — тихо произнесла старушка.

Молча убрав нож, Эггер посмотрел прямо в лицо старику и старухе, а те, широко распахнув глаза, не сводили с него взгляда.

— Ах, господин мой хороший! — продолжал старик, и казалось, что в глазах его стоят слезы. — Всю ночь мы бродим по этим горам, а тут одни камни кругом!

— Одни камни! — подтвердила старушка.

— Камней больше, чем звезд на небе!

— Господи, помилуй нас.

— Мы заблудились!

— Кругом одна лишь темная, холодная ночь, куда ни посмотри.

— И камни, — повторил старик, и тут на глазах у него действительно выступили слезы, а потом капельками, одна за другой, покатились по щекам и шее. Его жена умоляюще смотрела на Эггера.

— Мой муж уже собирался лечь и умереть прямо тут!

— Фамилия наша Рошкович, — заговорил старик. — Мы женаты уже сорок восемь лет. Это ведь почти полвека! Прожив вместе так долго, точно знаешь, что ты значишь для супруга и что супруг значит для тебя, понимаете, господин мой?

— Не совсем понимаю, — ответил Эггер. — К тому же никакой я не господин. Но, если хотите, могу отвести вас вниз, в долину.

Они спустились в деревню, и старик Рошкович заключил сопротивляющегося Эггера в объятия.

— Спасибо вам, — растроганно сказал он.

— Да, спасибо, — повторила его жена.

— Спасибо, спасибо!

— Ладно уж, ладно. — Эггер отступил на шаг назад.

Боязливость и отчаяние пожилых супругов развеялись еще тогда, когда они стали спускаться с пика Пропасти, а с первыми лучами солнца их усталость как ветром сдуло. Эггер показал им, как пить росу с горной травы, они утолили жажду и почти все время шли вслед за ним, тараторя как малые дети.

— Мы хотели вас кое о чем попросить, — начал старик. — Не покажете ли нам какие-нибудь

тропы? Вы, кажется, ориентируетесь на этой местности, как в собственном палисаднике.

— А для нашего брата вылазка в горы — нелегкая прогулка, — подтвердила его жена.

— Это займет только день-другой. Хотим подняться в гору и спуститься обратно, вот и все. Об оплате даже не задумывайтесь, мы не хотим оставить о себе плохое впечатление. Ну, что скажете?

Эггер задумался о работе, предстоящей в ближайшие дни. Надо порубить на дрова несколько бревен, заново вспахать картофельное поле, где из-за дождя случился оползень. Он с ужасом представил рукоятку плуга, от которой не спасают даже самые жесткие мозоли и уже через несколько часов кожа ладоней начинает пылать.

— Да, — ответил Эггер. — Кое-что могу показать.

Целую неделю Эггер водил стариков по разным тропам, все усложняя и усложняя маршрут, показывал им красоты края. Такая работа доставляла ему радость. Он с легкостью ходил по неровной поверхности гор, а воздух на высоте сдувал все хмурые мысли прочь. Кроме того, они переговаривались лишь изредка — с одной стороны, потому что не находилось тем для разговора, а с

другой — потому что его спутники и так поспевали за ним, дыша тяжело и со свистом, а тут уж точно не захочешь говорить о чепухе.

По прошествии недели, во время бурного прощания пожилой четы с Эггером, Рошкович сунул тому несколько купюр в карман куртки. И у мужа, и у жены в глазах стояли слезы, когда они, сев ранним утром в автомобиль, помчались по шоссе в направлении своего дома и исчезли в тумане.

Это новое дело пришлось Эггеру по душе. Потому он занял пост на главной деревенской площади, прямо у фонтана, и, смастерив табличку, содержащую самые необходимые сведения и в то же время способную заинтересовать туристов, стал ждать.

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ГОРЫ – ВЫ ОБРАТИЛИСЬ ПО АДРЕСУ!

Я провел всю жизнь на природе и готов предложить:

походы с багажом или без;
прогулки (на полдня или целый день);
скалолазание;
маршруты для прогулок в горах (для пожилых людей, инвалидов и детей);

экскурсии в любой сезон (если позволяет погода);

встречу восхода (для жаворонков);

встречу заката (только в долине, в горах слишком опасно).

Горы на пользу и телу, и духу!

(ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, НО – НЕДОРОГО!)

Очевидно, табличка производила впечатление, потому что с самого начала дела пошли как надо, и у Эггера уже не было причин соглашаться на труд подсобного рабочего. Как и прежде, он часто вставал еще до рассвета, только теперь он шел не на пашню, а поднимался высоко в горы и наблюдал восход солнца. Лица туристов словно светились изнутри, когда на них попадали первые лучи солнца, и Эггер убеждался, что они счастливы.

Летом Эггер часто уводил туристов далеко за ближайшие горные хребты, а зимой ограничивался лишь прогулками на широких снегоступах, но утомляли они не меньше. Он всегда шел первым, высматривал возможные опасности, слушал, как сзади пыхтят туристы. Ему нравились эти люди, хотя некоторые из них пытались научить его жизни и вели себя как-то по-иди-

отски. Он знал, что высокомерие как ветром выдует из их горячих голов, оно испарится вместе с пóтом после двухчасового восхождения, и не останется ничего, кроме благодарности за то, что они добрались до вершины, да пронизывающей до костей усталости.

Бывало, Эггер проходил мимо старого своего участка. На месте, где прежде стоял его дом, за много лет образовался каменный вал. Летом между глыбами пробивались цветы белого мака, а зимой дети катались с вала на лыжах. Эггер наблюдал, как они со свистом съезжают по склону, с радостным криком отрываются от земли, взлетая на миг в воздух, а потом ловко приземляются или пестрыми шариками кувыркаются в снегу. Он вспоминал порожек, где они с Мари так часто сидели вечерами, решетчатую калитку, закрывающуюся на простой крючок: Эггер сам его сделал, согнув длинный стальной гвоздь. А после лавины калитка пропала, как и множество других предметов, снег растаял, но они так и не нашлись. Вещи просто исчезли, словно и не существовали вовсе. Эггер ощущал, как в сердце нарастает тоска. Ведь сколько всего Мари еще могла сделать в жизни, куда больше, чем он даже мог себе представить.

Во время походов Эггер большую часть времени молчал. «Открывая рот, закрываешь уши», — любил повторять Томас Матль, и Эггер разделял этот взгляд на вещи. Вместо того чтобы говорить, он охотно слушал запыхавшихся туристов: благодаря их непрерывной болтовне он постигал тайны чужих судеб и точек зрения. Очевидно, в горах люди искали нечто такое, что казалось им давно утраченным. Эггеру ни разу так и не удалось понять, о чем именно шла речь, но с годами он все больше убеждался, что туристы, в сущности, следовали горными тропами не за ним, а за какой-то неведомой, неумолимой тоской.

Как-то раз, во время короткого привала на вершине Двадцати, дрожащий от волнения юноша схватил Эггера за плечи и воскликнул:

— Неужели вы не видите, до чего тут чудесно?!

Глянув в восторженное лицо туриста, Эггер ответил:

— Вижу, но скоро начнется дождь, и как только случится оползень, с красотой будет покончено.

Лишь однажды за все время работы проводником в горах Эггер чуть было не потерял человека. Это произошло весенним днем в конце шестидесятых, ночью зима ненадолго вернулась в горы, а Эггер собирался отвести маленькую группу

по тропе, откуда открывается панорамный вид на новый горнолыжный подъемник с четырехместными сиденьями. Проходили по мостику над Бедняковым ущельем, как вдруг одна полная дама поскользнулась на сырых досках и потеряла равновесие. Эггер шел прямо перед ней и увидел краем глаза, как та стала размахивать руками, а потом одна ее нога взлетела в воздух, словно кто-то дернул за невидимую веревку. Ущелье было глубиной в двадцать метров. Эггер бросился к туристке, та заваливалась назад, а потому лицо ее отдалялось с каждым мигом, и казалось, будто оно выражает глубокое благоговение. Она упала на спину, Эггер услышал треск древесины. Но за секунду до того, как она едва не перелетела через перила и не сорвалась в пропасть, Эггеру удалось схватить ее одной рукой за ногу, оказавшуюся как-то странно мягкой, а другой — за рукав, он вытянул ее обратно, а потом она, лежа на спине, будто с удивлением молча рассматривала облака.

— Все чуть было не кончилось скверно, — сказала туристка, взяв Эггера за руку и приложив ее к своему лицу, а потом улыбнулась.

Эггер испуганно кивнул. Щека на ощупь была влажной. Ладонью он чувствовал едва замет-

ную дрожь, само прикосновение казалось ему неуместным. Он вспомнил один случай из детства. Как-то раз Кранцштокер разбудил одиннадцатилетнего Эггера посреди ночи, чтобы тот помог принять роды у коровы. Несколько часов корова изо всех сил старалась отелиться, беспокойно ходила кругами, до крови раздирала о стену свою морду. Наконец она с глухим шумом улеглась на бок, в солому. В мерцающем свете керосиновой лампы маленький Эггер увидел, как корова закатила глаза, а из-под хвоста у нее отошли вязкие воды. Как только показались передние ноги теленка, просидевший все это время на своей табуретке крестьянин встал и засучил рукава. Но теленок больше не двигался, и корова лежала тихо. Но вдруг подняла голову и замычала. От этого звука сердце Эггера объял леденящий ужас.

— Помер, — объявил Кранцштокер, и вместе они стали вытаскивать мертвого теленка из тела матери.

Эггер держал теленка за шею. На миг ему показалось, что, прикоснувшись к мягкой и влажной шкурке, он почувствовал кончиками пальцев пульс, буквально один отрывистый толчок. Эггер задержал дыхание, но больше ничего не

почувствовал, и крестьянин вынес расслабленное тельце на улицу. На дворе уже светало, а маленький Эггер остался в хлеву, мыл пол, вытирал соломой коровью шкуру и думал о теленке, чья жизнь оборвалась с единственным ударом сердца.

Полная дама улыбнулась:

— Думаю, все в порядке и я ничего не сломала. Только бедро немного побаливает. Теперь мы вместе можем похромать в долину.

— Нет, — ответил Эггер, вставая. — Каждый хромает сам по себе.

После смерти Мари Эггер не раз переносил неуклюжих туристок через горный ручей или переводил за руку через скользкие скалы, но помимо этого — беглых, случайных прикосновений — с женщинами дела не имел. Мало-мальски устроить свою жизнь заново ему и так было нелегко — он ни за что не хотел утратить покой, с годами постепенно воцарившийся в его душе. По существу, он и Мари-то едва понимал, что уж говорить о других женщинах, оставшихся для него загадкой. Эггер не знал, чего они хотят, чего не хотят, его сбивало с толку многое из того, что они говорили и делали в его присутствии, он злился или цепенел, а потом с большим трудом избав-

лялся от этого состояния. Как-то раз в «Золотой серне» пахнущая кухней повариха, сезонная работница, прижалась к нему всем своим грузным телом и нашептала на ухо несколько сальных словечек, приведя его в такое замешательство, что он выбежал из трактира, не заплатив за суп, и полночи бродил по обледеневшему склону, чтобы успокоиться.

Такие случаи пока еще могли взбудоражить душу Эггера, но с годами происходили все реже, а потом и вовсе прекратились. Но сам он не чувствовал себя из-за этого несчастным. Однажды он обрел любовь, а потом потерял. Ничего подобного Эггер больше не переживал, и это его устраивало. А борьба с желанием, вновь и вновь разгоравшимся в нем, — эту борьбу он до самого конца намеревался вести сам с собой.

Однако в начале семидесятых с Эггером кое-что приключилось, и это едва не помешало, по крайней мере, на несколько осенних дней, его намерениям провести остаток жизни в одиночестве. В последнее время он стал замечать, что настроение школьников в классной комнате за стеной его спальни изменилось. Привычные крики детей стали громче, заслышав звонок на перемену, они и прежде выбегали из класса с

ликованием, но теперь, казалось, вообще как с цепи сорвались. Причиной обретенной наглости учеников стал уход на пенсию пожилого деревенского учителя: он положил большую часть жизни на то, чтобы вложить в головы нескольким поколениям крестьянских детей, ленившихся думать и нипочем не поднимавших на учителя взгляд, хотя бы элементарные основы грамоты и арифметики, порой по необходимости применяя собственноручно свитую из бычьих хвостов плеть. Проведя последний урок, старик-учитель открыл окно, выкинул коробку с остатками мела в розарий и в тот же день сбежал прочь из деревни, чем озадачил членов общинного совета, ведь преемника, готового строить свою карьеру среди лыжников и коровьих стад, так быстро не отыщешь. Решение проблемы нашлось в лице учительницы из соседней долины, Анны Холлер, которая сама давно ушла на пенсию, а теперь с безмолвной благодарностью приняла предложение временно вести занятия в школе. Анна Холлер придерживалась иных принципов в воспитании детей: верила в самостоятельное развитие детских талантов, а плеть из бычьих хвостов повесила снаружи, на стену школы, где та спустя годы высохла и стала опорой для раз-

растающегося дикого плюща.

Эггер, однако, не одобрил новые педагогические приемы. Как-то утром он вскочил с постели и отправился прямиком в класс.

— Прошу прощения, но у вас тут слишком шумно. А человеку ведь нужен покой!

— Ответьте ради бога, а вы-то кто?

— Меня зовут Андреас Эггер, я живу за стенкой, в соседней комнате. Моя кровать стоит примерно там, где висит доска.

Учительница шагнула к нему навстречу. Она была ниже Эггера на голову, но за спиной у нее сидели дети, удивленно смотря на Эггера, так что выглядела она грозной и явно не готовой ни к каким компромиссам. Ему бы сказать что-нибудь, но он только молча разглядывал линолеум, потупив взгляд. Эггер вдруг почувствовал себя таким дураком! Старик, явился в класс со смехотворными жалобами, и даже малые дети уставились на него с нескрываемым удивлением.

— Соседей не выбирают, — ответила учительница. — Очевидно только одно: вы неотесанный чурбан! Ворвались в класс посреди урока, без спросу, не удосужившись причесаться и побриться, к тому же в кальсонах, или что это такое?

— Пижамные штаны, — пробормотал Эггер,

уже сто раз пожалев, что пришел в класс. — Подумаешь, заштопал дырку-другую…

Анна Холлер вздохнула.

— Немедленно покиньте классную комнату, — велела она. — Сможете вернуться, когда помоетесь, побреетесь и прилично оденетесь.

Но Эггер так и не вернулся. Ладно, он примирится с шумом, а при необходимости будет затыкать уши мхом, вот и все решение. Вероятно, так бы это и забылось, если бы в ближайшее воскресенье в комнате Эггера не раздался громкий, троекратный стук в дверь. На пороге стояла Анна Холлер с пирогом в руках.

— Я подумала, что будет неплохо, если я принесу вам кое-что съестное, — начала она. — Где у вас стол?

Эггер предложил учительнице присесть на единственную, самодельную, табуретку, а пирог поставил на старый ящик с припасами, где он хранил, из тайного страха перед тяжелыми временами, несколько консервных банок тушенки с луком «Хаггемайер» и пару теплых ботинок.

— Такие пироги частенько получаются суховаты, — подметил Эггер и с кувшином в руке направился к колодцу на деревенской площади, а пока шел, думал об учительнице, сидящей в его

комнате в ожидании, когда уже они разрежут пирог.

Он думал, что они, должно быть, ровесники, но годы работы в школе не прошли бесследно. Лицо ее покрывали крохотные морщинки, а в темных, собранных в тугой пучок волосах сверкали белоснежные пряди. На миг перед глазами Эггера возникла необычная картина: он не просто увидел учительницу, сидящую в ожидании на табуретке, но ему показалось, что одно лишь ее появление в комнате, где он провел столько одиноких лет, меняет это помещение, увеличивает, словно стены странным образом распахиваются во все стороны.

— Вот, значит, где вы живете, — сказала учительница, когда Эггер вернулся с полным кувшином воды.

— Да, — ответил он.

— В конце концов, счастливым можно быть где угодно, — подметила она.

Глаза у Анны Холлер были темно-карие, взгляд теплый и дружелюбный, но Эггер испытывал неловкость от того, что она на него смотрит. Глянув на свой кусок пирога, он выковырял пальцем изюминку и незаметно бросил ее на пол. Они принялись за еду, и Эггер волей-неволей признал,

что пирог вышел вкусный. «Да уж, — подумал он, — пожалуй, этот пирог вкуснее всего, что я ел в последние годы». Но вслух он эту мысль не высказал.

Позже Эггер и сам не мог объяснить, как получилось, что дело приняло такой оборот. Учительница Анна Холлер запросто явилась к его двери с пирогом в руках, так же запросто она вторглась в его жизнь и очень скоро стала претендовать на важное место в ней — очевидно, она сочла, что имеет на это право. Эггер до конца не понимал, что с ним происходит, да и не хотел показаться невежливым, а потому гулял с учительницей или, сидя на солнышке, пил с нею кофе, который она все время приносила в термосе и хвалилась, мол, он чернее, чем душа у дьявола. У Анны Холлер под рукой всегда находились подобные сравнения, она вообще болтала без умолку, рассказывала про уроки, детей, свою жизнь, про мужчину, который давно уже там, где ему и место, и которому ей никогда — никогда-никогда! — не следовало доверять. Порой Эггер даже не понимал, о чем это она. Она употребляла слова, каких он никогда прежде не слыхивал, про себя считая, что она вообще их выдумывает, когда заканчиваются настоящие. Эггер позволял

ей выговориться. Он слушал, время от времени кивал, то соглашался, то не соглашался и пил кофе, заставлявший его сердце биться в бешеном темпе, словно он взбирался по северному склону Казначейской вершины.

Как-то раз она уговорила его прокатиться на Синей Лизль к вершине Карлейтнер. Оттуда, мол, видно всю деревню, школа выглядит как спичечный коробок, а если прищуриться, то можно различить пестрые точки — это дети у колодца на деревенской площади.

Кабинка отправилась вверх с легким толчком, Эггер встал у окна. Почувствовал, как учительница, приблизившись к нему сзади, стала смотреть через плечо. Он переживал, что не стирал свою куртку вот уже несколько лет. Хорошо хоть брюки он постирал на прошлой неделе — полчаса полоскал их в чистой ключевой воде, а потом сушил на нагретом солнцем камне.

— Видите вон ту опору? — спросил Эггер. — Когда мы заливали фундамент, один из рабочих упал. Выпил слишком много накануне и к полудню не стоял на ногах. Вот и свалился лицом прямо в бетон. Лежал там и не шевелился. Как дохлая рыба в пруду. Вытащить его смогли далеко не сразу, бетон начал затвердевать. Но он выжил.

Только ослеп с тех пор на один глаз. Сложно сказать, из-за бетона или из-за самогонки.

Добравшись до верхней площадки, они довольно долго стояли и разглядывали долину. Эггер подумал, что надо бы как-то развлечь учительницу, а потому стал показывать ей в деревне всякую всячину: вот остатки сожженного стойла, вот дома, в спешке построенные для отдыхающих на месте свекольного поля, вот огромный, покрытый ржавчиной и заросший пурпурно-красным дроком котел, который солдаты горнострелковых войск после окончания войны бросили за капеллой, и с тех пор дети играют там в прятки. Услышав что-то новое, Анна Холлер каждый раз смеялась. Порой ее смех полностью перекрывался шумом ветра, и тогда казалось, что она беззвучно сияет от радости.

Ранним вечером, вернувшись на нижнюю станцию, Эггер и Анна еще несколько минут стояли рядом и наблюдали, как кабинка вновь уплывает вверх. Эггер не знал, что сказать, да и вообще надо ли ему говорить, а потому молчал. Из машинного отделения на цокольном этаже станции доносилось приглушенное жужжание моторов. Эггер почувствовал на себе взгляд учительницы.

— Я хочу, чтобы вы проводили меня домой, —

сказала она и зашагала в сторону дома.

Анна Холлер жила сразу за ратушей, в комнатушке, которую ей выделила община на время работы в школе. Учительница выложила на тарелку хлеб с салом и луком, а за окном на подоконнике уже охлаждались две бутылки пива. Эггер угощался закуской, пил пиво, но на учительницу старался не смотреть.

— Вы — настоящий мужчина, — начала она. — Настоящий мужчина, и аппетит у вас что надо!

— Может быть… — ответил Эггер, пожав плечами.

За окном постепенно темнело, Анна встала и прошлась по комнате. Остановилась перед небольшим буфетом. Со спины Эггер увидел, как она опустила голову, словно уронила что-то на пол и не может найти. Руками она перебирала подол юбки. На каблуках еще виднелась осевшая пыль и земля. В комнате царила жуткая тишина. Покинув окрестные долины много лет назад, она будто скопилась именно в этом мгновении и в этом крошечном помещении. Эггер откашлялся. Поставив бутылку, он наблюдал, как с горлышка по стеклу медленно скатывается капелька, превращаясь на скатерти в темное круглое пятно. Анна Холлер неподвижно, потупив взгляд,

стояла перед буфетом. Подняла сперва голову, потом руки.

— Человек в этом мире так часто бывает одинок, — прервала она молчание.

Потом повернулась. Зажгла две свечи, поставила их на стол. Сдвинула шторы. Закрыла дверь на защелку.

— Иди ко мне.

Эггер по-прежнему не сводил взгляд с темного пятна на скатерти.

— Я был только с одной женщиной, — сказал он.

— Это ничего не меняет, — ответила она. — Меня это устраивает.

Позже Эггер наблюдал, как рядом с ним спит немолодая женщина. Когда они оказались в постели, Анна положила руку ему на грудь, и сердце его застучало так громко, что ему почудилось, будто вся комната стала пульсировать. Ничего не вышло. Он не смог себя пересилить. Лежа неподвижно, словно гвоздями прибитый к кровати, Эггер ощущал, как рука Анны становится все тяжелее, утопает в груди, проходит сквозь ребра и касается самого сердца. Он разглядывал ее тело. Она лежала на боку. Голова соскользнула с подушки, волосы тонкими прядями раскинулись по

простыне. Лицо вполоборота. Щеки впали, лицо казалось худощавым. Ночной свет, проникавший в комнату сквозь тонкие шторы, словно цеплялся за многочисленные морщинки. Эггер заснул, а проснувшись, обнаружил, что учительница отвернулась, и услышал приглушенные подушкой всхлипы. Он не мог решить, что же делать, и еще немного полежал рядом с ней, пока не осознал: ничем в мире этого не исправить. Тихо поднявшись, Эггер ушел.

В том же году в деревню приехал новый молодой учитель, лицо у него было мальчишеское, волосы, заплетенные косичкой, доставали до плеч, а вечера он проводил за вязанием свитеров и вырезанием из корней маленьких, перекрученных распятий. Покой и дисциплина прежних дней в школу так и не вернулись, но Эггер привык к шуму за стенкой. Учительницу Анну Холлер он с тех пор видел лишь раз. С корзиной для покупок в руках она шла по деревенской площади. Шла медленно, семенящими шажками, опустив голову, совершенно погрузившись в свои мысли. Завидев Эггера, она вскинула руку и помахала ему одними пальцами, как обычно машут детям. Эггер поспешно отвел взгляд. Потом он стыдился, что в тот миг проявил малодушие. Анна Холлер

покинула деревню так же тихо и незаметно, как когда-то прибыла. Однажды холодным утром, еще до рассвета, она загрузила два чемодана в багажное отделение почтового автобуса, села на последний ряд, закрыла глаза и — как рассказал водитель автобуса — за всю поездку так их и не открывала.

Той осенью рано выпал снег. Спустя несколько недель после отъезда Анны Холлер лыжники уже отстаивали в долине длинные очереди на подъемник, и до позднего вечера повсюду в деревне слышались металлические щелчки лыжных креплений да скрип лыжных ботинок. Холодным солнечным днем, незадолго до Рождества, Эггер шел домой после прогулки по заснеженным тропам с несколькими пожилыми господами и увидел на противоположной стороне улицы группу взволнованных туристов, а с ними нескольких местных, деревенского жандарма и целую ватагу суетящихся, визгливых ребятишек. Два молодых туриста в лыжных костюмах соорудили из своих лыж импровизированные носилки, собираясь нечто транспортировать, причем явно — с большой осторожностью. К своему грузу они относились с особенным почтением, и Эггеру невольно вспомнилось усердие, с которым во

время воскресной службы вокруг алтаря суетятся служки. Эггер пересек улицу, чтобы рассмотреть всю сцену поближе, но от увиденного потерял дар речи. На самодельных носилках лежал Ханнес-Рогач.

На секунду Эггер подумал, что лишился рассудка, но сомнений не оставалось: перед ним лежал пастух, вернее, то, что от него осталось. Тело его окоченело. Насколько можно было разглядеть, отсутствовала одна нога, а другая причудливо высилась над носилками. Руки плотно прижаты к груди, на пальцах висят высохшие обрывки плоти, а костяшки почти обнажились и скрючены, как птичьи когти. Голова сильно запрокинута, как будто кто-то с силой дернул за волосы назад. Половина лица содрана с костей — постарался лед. Видна челюсть с иссиня-черными деснами, словно пастух улыбается. Век на обоих глазах нет, но сами глаза абсолютно целы, и кажется, что они смотрят высоко в небо.

Отвернувшись, Эггер сделал несколько шагов в сторону, но потом остановился. Ему стало дурно, в ушах зашумела кровь. Хорошо бы сказать им… Но что?! Мысли кружились в безумном танце. Ничего не удавалось сформулировать четко, он обернулся и обнаружил, что люди давно ушли. Со

своим ледяным грузом они двигались дальше по улице в направлении капеллы. С одной стороны от носилок шел жандарм. С другой — вверх торчала как засохший корень нога пастуха.

Два лыжника, любители приключений, нашли Ханнеса-Рогача чуть выше оживленного скоростного спуска, в расселине, посреди ледника. Им потребовался не один час, чтобы расколоть лед и вытащить его из вечной мерзлоты. Расселина была слишком узкой, туда не могли пробраться птицы и звери, а лед законсервировал тело на десятки лет. Не хватало только ноги. Сразу появились различные версии: может, на пастуха напал какой-то зверь — еще до того, как он оказался в расселине; может, ногу ему отсекло обломком скалы; может, он в отчаянии отрезал ее себе сам, чтобы высвободиться. Загадка оставалась нерешенной, нога так и не нашлась, а по культе нельзя было ни о чем судить. Культя как культя, покрыта тонким слоем льда, края слегка рваные, в середине плоть иссиня-черная, как и десны.

Покойника отнесли в капеллу, чтобы все желающие могли с ним проститься. Но, за исключением нескольких туристов, желавших своими глазами увидеть и сфотографировать со всех сторон таинственного обледенелого мертвеца при

свете свечей, никто не пришел. Ханнеса-Рогача никто не знал и не помнил, к тому же прогноз погоды обещал потепление, поэтому пастуха похоронили на следующий же день.

Эта неожиданная встреча потрясла Эггера. Со дня исчезновения Ханнеса-Рогача и до его нового появления прошла целая жизнь. Мысленно Эггер вновь увидел полупрозрачную фигуру пастуха: вот он удаляется, поднимаясь в гору большими шагами, вот растворяется в белой тиши снегов. Как он добрался до ледника, расположенного в нескольких километрах от того места? Что искал там? И что, в конечном счете, с ним приключилось? Эггер содрогался при мысли о ноге, оставшейся, очевидно, где-то в глубинах ледника. Может, и ее найдут еще через несколько лет, принесут на своих плечах в деревню как необычный трофей какие-нибудь другие беспокойные лыжники. Вероятно, Ханнесу-Рогачу уже все равно. Теперь он лежит в земле, а не во льду и, так или иначе, обрел покой. Эггер вспомнил бесчисленных мертвецов, которых ему довелось видеть в России. Гримасы на лицах окоченелых трупов, вмерзших в русский лед, — худшее, что он видел в жизни. Ханнес-Рогач, в отличие от них, чудесным образом казался счастливым. «В последние

минуты своей жизни он улыбался небу, — думал Эггер, — а дьяволу бросил в глотку свою ногу, мол, пусть подавится!» Эта мысль понравилась ему, словно в ней нашлось утешение.

Занимала Эггера и другая мысль: превратившийся в ледышку пастух смотрел на него будто сквозь время. Лицо его, обращенное к небу, сохранило почти юношеские черты. Когда Эггер нашел его при смерти в горной хижине и принес в долину на деревянных заплечных носилках, тому было лет сорок-пятьдесят. А сейчас самому Эггеру далеко за семьдесят, и чувствует он себя соответственно возрасту. Жизнь и работа в горах оставили свои следы. Все в нем вкривь да вкось. Спина гнется крутой дугой, словно тело стремится к земле, а позвоночник, по ощущениям, уже врос в голову. Впрочем, он все еще уверенно держится на ногах, и даже сильные осенние ветры в горах не могут сбить его с ног… И все же он чувствовал себя деревом, сгнившим изнутри.

***

В последние годы жизни Эггера заказы на экскурсии по горам поступали все реже, да и все равно он от них отказывался. Он решил, что достаточно вкалывал в жизни. Да и вообще сносить болтовню и переменчивое, как погода в горах, настроение туристов ему становилось все труднее. Однажды он чуть не поколотил молодого горожанина, который на радостях стал с закрытыми глазами вращаться вокруг своей оси на краю скалы и наконец свалился на площадку под ней, усыпанную щебнем, а потом хныкал, как ребенок, пока Эггер и остальные члены группы несли его в долину. Тут Эггер и закончил свою карьеру проводника в горах, вернувшись к нелюдимому образу жизни.

Население деревни с послевоенных времен увеличилось втрое, а количество мест для гостей — раз в десять, что вынудило общину, помимо строительства курортного комплекса с крытым бассейном и садом, затеять еще и расширение школы, требовавшееся уже давно. Эггер съехал до прибытия строителей. Собрав свои скром-

ные пожитки, он перебрался в заброшенный десятилетия назад хлев, что располагался на несколько метров выше границы деревни. Хлев представлял собой нечто наподобие пещеры в скале, из-за чего температура там почти не менялась в течение года — большое достоинство этого места. Переднюю стену сложили из камней, от непогоды между ними образовались зазоры и дыры, которые Эггер заткнул мхом и потом замазал цементом. Щели в двери он тоже заделал, покрыл древесину сосновой смолой и соскоблил ржавчину с петель. Выбив из стены два камня, он сделал окно и пустил туда трубу от черной закопченной печки, найденной в куче металлолома за нижней станцией канатной дороги на Мальчуганову вершину.

В новом жилище Эггер чувствовал себя хорошо. Тут, наверху, ему иногда становилось одиноко, но Эггер не считал уединение недостатком. У него не было никого, но все необходимое для жизни имелось — а что еще надо? Из окна открывался вид на просторы, печь грела хорошо, а тяжелый дух коз и коров окончательно выветрится после первой же зимы, стоит ему хорошенько протопить хлев. Прежде всего Эггер наслаждался покоем. Шум, к тому времени заполонивший всю долину, а по

выходным дням волнами накатывающий и на горные склоны, в его жилье почти не проникал. Летними ночами, когда тяжелые облака висели на горных вершинах, а в воздухе пахло дождем, Эггер, лежа на своем матрасе, прислушивался к шорохам, с которыми разные зверюшки рылись в земле над его головой. Зимой, по вечерам, он слушал приглушенное жужжание ратрака — машины для уплотнения снега, подготавливающей где-то вдали спуски на завтра. Он все чаще и чаще думал о Мари. О том, что было и что могло бы быть. Но короткие и мимолетные мысли эти проносились в его голове так же быстро, как обрывки туч за окном.

Поговорить Эггеру было не с кем, поэтому он разговаривал сам с собой или с вещами, его окружавшими.

— Ни на что ты не годишься! Слишком тупой, — говорил он ножу. — Я заточу тебя об камень. А потом спущусь в деревню, куплю мелкую наждачную бумагу и хорошенько отполирую. Твою ручку обмотаю кожей. Тогда-то и ляжешь в руку удобно! И выглядеть будешь хорошо, хотя совсем не в этом дело, понял?

Или рассуждал:

— В такую погоду хочешь не хочешь, а за-

грустишь. Кругом ничего, один туман. Взгляд скользит вокруг, а зацепиться ему не за что. Если так и дальше пойдет, туман скоро проберется в мою комнату, и над столом заморосит дождь.

А еще подмечал вслух:

— Скоро придет весна. Птицы-то ее уже заметили. Даже в костях что-то пробуждается. А под снегом, глубоко-глубоко, уже лопаются луковички.

Бывало, Эггер посмеивался над самим собой и своими мыслями. Сидел за столом один-одинешенек, смотрел в окно на горные вершины, над которыми спокойно проплывали облака, отбрасывая тени на склоны, и смеялся чуть ли не до слез.

Раз в неделю он спускался в деревню, чтобы купить спички и малярную краску или хлеб, лук, масло. Он давно заметил, что люди думают о нем нехорошо. Сложив покупки на самодельную тележку, которую он по весне снабдил резиновыми колесиками, он выдвигался в обратный путь и замечал краем глаза, как деревенские, склонившись друг к другу, начинали шептаться за его спиной. Обернувшись, он одаривал их самым злым взглядом, на какой был способен. Хотя на самом деле мнение деревенских никак его не

задевало. Для них он — старик, живущий в землянке, разговаривающий с самим собой и поутру умывающийся в ледяном горном ручье. А вот с точки зрения Эггера, ему удалось так обустроить свою жизнь, чтобы быть всем довольным. Он мог еще некоторое время жить на деньги, вырученные за работу проводником в горах, имел крышу над головой, спал в своей собственной кровати, позволял себе так долго созерцать округу, сидя на табуретке перед дверью дома, что глаза закрывались, а он начинал клевать носом. Подобно любому человеку, Эггер пронес через свою жизнь какие-то представления, какие-то мечты. Одно он осуществил сам, другое ему даровала судьба. Многое так и осталось недостижимым или было тут же вырвано из рук, едва Эггер это заполучил. Но он сам все еще жив. Потому по утрам, в те дни, когда только-только растаял снег, он прогуливался по мокрой от росы траве перед домом, ложился на какой-нибудь плоский валун и ощущал спиной его прохладу, и лицо согревали первые лучи солнца, и думалось ему, что многое в жизни сложилось не так уж плохо.

И вот в то самое время, когда только-только растаял снег и рано поутру от земли шел пар, а зверюшки вылезали из своих норок и гнезд,

Андреас Эггер повстречал Ледяную Даму. Часами напролет он ворочался на своем матрасе без сна, а потом тихо лег, скрестив руки на груди, и стал прислушиваться к звукам ночи. Он слушал беспокойный ветер, шелестящий по стенам жилища, глухими ударами бьющий в окно. Но вдруг все замерло. Эггер зажег свечу и вгляделся в мерцающие тени на потолке. Погасив свечу, довольно долго он лежал не двигаясь. Потом наконец встал и вышел на улицу. Мир тонул в непроглядном тумане. Кругом все еще царила ночь, но вдалеке, за мягкой тишиной, уже занимался рассвет и воздух поблескивал, как молоко в темноте.

Эггер сделал несколько шагов вверх по склону. Он едва различал очертания собственной руки, казалось, она утонет в глубоких загадочных водах, стоит вытянуть ее перед собой. Осторожно, шаг за шагом, он прошел несколько сотен метров вверх. Вдалеке послышался звук, похожий на протяжный свист сурка. Белая обнаженная луна висела на небе в прогалине тумана. Вдруг Эггер почувствовал легкое дуновение — и в тот же миг ветер вернулся, задул в полную силу. Порывами он раздирал туман, растаскивая клочья в разные стороны. Эггер слышал, как ветер воет в скалах выше по склону и как шепчет в траве под его

ногами. В пелене тумана он двинулся дальше, и она расступалась пред ним, как живая. И тут он увидел небо. Увидел плоские скалы с остатками снега, будто кто-то расстелил поверх них белые скатерти. И увидел Ледяную Даму метрах в тридцати выше, на склоне.

Ее белые очертания он принял было за клочья тумана. Но тут же отчетливо разглядел бледные руки. Потертый платок на плечах. И волосы, тенью падающие на белизну плеч. По телу Эггера пробежала дрожь. В тот же миг он почувствовал холод. Но этот мороз по коже — не от холодного воздуха. Он зародился внутри. Холод засел глубоко в сердце, холод — это и есть ужас. Белая фигура приближалась к узкому скалистому выступу, перемещалась быстро, но Эггер не мог разглядеть ее шагов. Словно Ледяную Даму тянула к скале невидимая нить, скрытый механизм. Эггер не решался даже шевельнуться. Ужас сковал его сердце, но, как ни странно, в то же время он боялся спугнуть Ледяную Даму звуком или резким движением. Он увидел, как ветер, запутавшись в ее волосах, на миг обнажил шею. И понял все.

— Обернись! — взмолился он. — Пожалуйста, обернись, посмотри на меня.

Но она все удалялась, а Эггер видел только

шею, на которой красным полумесяцем светился шрам.

— Где ты была так долго? — крикнул он. — Мне столько надо тебе рассказать! Ты не поверишь, Мари! Рассказать об этой длинной, длинной жизни…

Она не обернулась. Не ответила. Слышался только шум ветра, вой и тихие вздохи, с которыми он касался земли, забирая с собой последний снег той зимы.

Эггер стоял на склоне совсем один. Он не двигался очень долго, а кругом отступала ночь. Когда он наконец пошевелился, за далекими горными грядами уже сияло солнце, заливало вершины столь нежным и красивым светом, что не будь Эггер таким усталым и сбитым с толку, он рассмеялся бы от пронзительного счастья.

В последующие недели Эггер не раз бродил по скалистым горным склонам над своим домом, но Ледяная Дама, или Мари, или кем бы ни было то видение, больше так и не явилась, и понемногу образ ее меркнул в его памяти, пока наконец не растворился окончательно. Эггер вообще стал забывчив. Случалось даже, что, встав с постели, он больше часа искал ботинки, которые накануне вечером повесил на печную трубу сушиться.

Или, размышляя насчет приготовления ужина, окунался в долгие мечтания и грезы, которые утомляли его настолько, что он, нередко все еще сидя за столом, опускал голову на руки и засыпал, так и не съев ни кусочка. Иногда, готовясь отправиться ко сну, он ставил табуретку у окна и долго вглядывался в ночной пейзаж, надеясь, что на фоне ночи возникнут воспоминания, способные привнести хоть чуточку покоя в его смятенную душу. Но все чаще и чаще порядок событий у него в памяти путался, воспоминания летели кувырком, и стоило какой-то цельной картине предстать перед его внутренним взором — она тут же ускользала от него или таяла, как кусок сливочного масла на горячей сковороде.

Однажды двое лыжников увидели, как совершенно голый Эггер расхаживает перед своим домом по снегу в поисках бутылки пива, которую он накануне вечером вынес на улицу охлаждаться, и с тех пор некоторые из деревенских стали считать Эггера окончательно чокнувшимся стариком. Но его это не беспокоило. Он знал, что сознание путается у него все сильнее, но сумасшедшим не был. Да и вообще в то время он уже вовсе не придавал значения людскому мнению, а бутылка действительно нашлась после непро-

должительных поисков — лежала себе рядом с водосточным желобом, лопнула от мороза, и пиво можно было сосать, как мороженое на палочке, — и Эггер с тихим удовлетворением отметил, что хотя бы в этот день у него мысли сочетаются с действиями.

Согласно свидетельству о рождении, которое, по мнению Эггера, не стоило и чернил для печати, стоявшей на нем, ему было семьдесят девять лет. Он прожил дольше, чем когда-либо предполагал, и мог в общем и целом быть довольным своей жизнью. Он пережил детство, войну и сход лавины. Работа его никогда не тяготила, он проделал в горах необозримое количество отверстий и, очевидно, срубил достаточно деревьев, чтобы хватило дров топить печи на протяжении целой зимы в каком-нибудь небольшом городке. Жизнь его не раз висела на волоске, а за последние годы, работая проводником в горах, он узнал о людях больше, чем способен осмыслить. В долг, как ему помнилось, он много не брал, не поддавался мирским соблазнам — пьянству, распутству и чревоугодию. Он построил дом, спал в бесчисленных кроватях, хлевах, на погрузочных платформах, а в России даже провел две ночи в деревянном ящике. Он любил. Получил пред-

ставление о том, куда может привести любовь. Он видел, как люди ступают по Луне. Он так и не создал себе сложностей тем, чтобы поверить в Бога, и смерть его не страшила. Эггер не помнил, откуда пришел, и не знал, куда уйдет. И все же на отрезок времени между этими событиями, а именно — на всю свою жизнь, он смотрел без сожаления, с прерывистым смехом и огромным удивлением.

Андреас Эггер умер в феврале, ночью, но не на улице, как он себе представлял — солнечные лучи греют затылок или звездное небо висит над головой, — а дома, за столом. У него закончились свечи, поэтому он сидел при скудном свете луны — в крошечном прямоугольнике окна она походила на тусклую, покрытую пылью и паутиной лампочку. Эггер думал о том, что предстоит сделать в ближайшие дни: купить свечек, заделать щель в оконной раме, через которую задувал ветер, выкопать перед домом канаву глубиной по колено и шириной сантиметров тридцать, чтобы там скапливалась талая вода. «Погода подсобит», — довольно уверенно сказал себе Эггер. Если вечером нога у него не ныла, то на следующий день обычно погода стояла тихая. Эггер думал о ноге с благодарностью, ведь на этом

прогнившем полене он столько лет промотался по миру! Однако сейчас уже не сумел понять — это его мысли или ему снится сон? Эггер услышал шорох, близко-близко. Мягкий шепот, так обычно разговаривают с детьми.

— Поздновато уже, — услышал он свои же слова.

Казалось, они на несколько секунд повисли в воздухе, а потом лопнули и рассеялись в лунном свете, падающем сквозь окно. Эггер ощутил в груди пронзительную боль и увидел, как тело его медленно заваливается вперед, как щека касается столешницы. Он слушал биение своего сердца. И вслушивался в тишину, когда это биение прекратилось. Терпеливо ждал следующего удара. А когда удара не последовало — перестал ждать и умер.

Три дня спустя его нашел почтальон — постучал в окно, хотел отдать местную газету. Тело Эггера хорошо сохранилось при зимних холодах, казалось, он просто сел за стол позавтракать и уснул. Похороны состоялись на следующий день. Церемония длилась недолго. Пастор продрог, пока работники кладбища опускали гроб в могилу, вырытую маленьким экскаватором в промерзшей земле. Теперь Андреас Эггер лежит рядом

со своей женой Мари. На могиле его стоит грубо обтесанная, испещренная трещинами известняковая плита, а летом растет светло-фиолетовая льнянка.

Однажды утром, почти за полгода до смерти, Эггера разбудило какое-то душевное беспокойство и в ту же минуту — не успел он и моргнуть — выгнало его на улицу. Сентябрь только начался, сквозь слой облаков пробивались солнечные лучи, подсвечивая блестящие автомобили тех местных, которые по каким-либо причинам не нашли себя в сфере туризма и каждое утро, нанизывая бусинки своих машин на нить дороги, выезжали на работу за пределы долины. Эггеру нравилась разноцветная цепочка машин, уходящая вдаль, постепенно теряющая свои очертания в туманном свете, растворяющаяся там насовсем. Одновременно это зрелище печалило его. Он невольно задумался о том, что сам, помимо поездок к окрестным канатным дорогам и горнолыжным подъемникам фирмы «Биттерман и сыновья», покидал эти края один-единственный раз, когда отправился на войну. Вспомнил, как, сидя на козлах гужевой повозки, впервые прибыл в долину именно по этой дороге, тогда представлявшей из себя лишь изборожденный глубокими

колеями проселок. В этот миг Эггера охватила такая глубокая и жгучая тоска, что казалось, сердце вот-вот разорвется. Даже не оглянувшись, он бросился бежать. Быстро, как только мог, хромая, спотыкаясь, он бежал в деревню, где прямо за многоэтажным отелем «Пост» располагалась остановка и, стоя с работающим двигателем, готовился к отправлению желтый автобус маршрута номер пять, который еще называли «Маршрутом семи долин».

— Куда поедете? — спросил водитель, не взглянув на Эггера.

Эггер знал водителя, тот несколько лет устанавливал крепления на лыжи в мастерской, открытой в бывшей кузнице, пока из-за артрита не заработал искривление суставов и не устроился в транспортную компанию. Рулевое колесо в его руках казалось тоненьким, как у игрушечной машинки.

— До конечной! — ответил Эггер. — Дальше-то не уедешь…

Купив билет, он сел на свободное место в одном из задних рядов между усталыми жителями деревни, которых он и раньше видел, но лично не знал: им либо не хватало денег на собственную машину, либо преклонный возраст не позволял

освоить сложную технику и справиться с высокими скоростями. Дверь закрылась, автобус тронулся, сердце у Эггера билось в сумасшедшем ритме. Откинувшись на кресло, он прикрыл глаза. Так он просидел какое-то время, а открыв глаза и выпрямившись, увидел, что деревня за окном исчезла и теперь мимо проплывают маленькие, одиноко стоящие в полях пансионы, автостоянки с закусочными, знаки бензоколонки и рекламные щиты. Вот гостиница, где в каждом окне видно развешанное белье. Вот у забора, уперев руку в бок, стоит женщина, лицо ее расплывается в сигаретном дыму. Эггер пытался было поразмышлять, но поток стремительно сменяющихся картинок за окном его утомлял. Уже почти засыпая, он попытался вновь пробудить в себе тоску, погнавшую его прочь из долины. Ее как ветром сдуло! Лишь на миг Эггеру опять почудился тот жар в груди, но оказалось, это лишь игра воображения, и он, проснувшись, даже не смог вспомнить, чего так жаждал и почему сейчас сидит в автобусе.

Эггер сошел на конечной остановке. Сделав несколько шагов по поросшей сорняком бетонной дороге, остановился. В каком направлении идти? Площадь, где он стоял, скамейки, низкая автобусная остановка, дома за нею ни о чем ему

не говорили. Нерешительно шагнув вперед, он опять встал. Эггера знобило, он дрожал. Забыл накинуть куртку, когда так опрометчиво помчался вон из деревни. Даже не подумал надеть шляпу, и дверь на замок не закрыл. Он просто сбежал и теперь сожалел об этом. Издалека доносились гул голосов, крик ребенка, скрип автомобильной двери, шум двигателя, ставший громче, а потом затихший. Теперь Эггер дрожал так сильно, что захотелось даже за что-нибудь ухватиться. Устремив взгляд в землю, он не решался шелохнуться. Мысленно он видел себя со стороны: стоит посреди площади никому не нужный, потерянный старик. Так стыдно ему не было никогда в жизни. Но тут кто-то прикоснулся к его плечу, и Эггер, медленно обернувшись, увидел перед собой водителя автобуса.

— Так куда именно вы хотите попасть? — спросил водитель.

Старик Эггер отчаянно подыскивал ответ, все еще не двигаясь.

— Я не знаю, — ответил он, не спеша покачав головой. — Я и сам не знаю.

На обратном пути Эггер сидел на том самом месте, которое выбрал для отъезда из долины. Водитель помог ему сесть в автобус и проводил

в конец салона, не потребовав оплатить проезд, да и вообще не сказав больше ни слова. На этот раз Эггер не заснул, но поездка показалась ему короче. Он чувствовал себя лучше, сердце билось спокойнее, и стоило автобусу вновь оказаться в голубой тени гор, как исчезла и дрожь. Глядя в окно, Эггер не знал, что ему чувствовать и о чем ему думать. Он столько лет не покидал свой дом, что позабыл, каково это — возвращаться.

Доехав до остановки в деревне, Эггер кивком попрощался с водителем. Он только и хотел попасть к себе как можно быстрее, но выйдя на окраину и увидев перед собой ступеньки, ведущие к дому, поддался внезапному желанию и повернул налево, на почти забытую тропку, огибающую безымянный мшисто-зеленый пруд и уходящую вверх, к самой вершине Звонаря. Довольно долго Эггер шагал вдоль проволочных ограждений, которые община установила для защиты от лавин, потом протиснулся сквозь узкую расселину, укрепленную глубоко вбитыми в скалу железными прутьями, и наконец пересек затененную, лежащую в низине лужайку. Трава влажно поблескивала, а земля пахла перегноем. Эггер двигался быстро, идти ему было легко, он позабыл об усталости и почти не замечал холода.

Он чувствовал, что с каждым шагом избавляется от одиночества и отчаяния, которые охватили его на той незнакомой площади. Чуял, как кровь шумит в ушах и как от прохладного ветра испаряется со лба пот. Достигнув самого глубокого места низины, он увидел в воздухе едва заметное движение. Что-то маленькое и белое затанцевало у него перед глазами. Потом еще — чуть в стороне. А в следующий миг все вокруг наполнилось крошечными, бесчисленными обрывками облаков, которые, тихо паря, опускались на землю. Сперва Эггер подумал, что это принесенные ветром лепестки, но на дворе стоял сентябрь, самый конец, а в это время ничего не цветет, и уж точно не на такой высоте. Тут он понял, что пошел снег. Он падал с неба все гуще, покрывал скалы и сочную зелень лугов. Эггер двинулся дальше. Он выверял каждый шаг, чтобы не поскользнуться. Пройдя несколько метров, смахивал рукой снежинки с бровей и ресниц. При этом в душе его оживало одно воспоминание, мимолетная мысль о том, что было давным-давно, нечто едва ли большее, чем смутный образ.

— Еще не конец, — тихо сказал он.

В долине воцарилась зима.